

ОН ЧЕЛОВЕК БЫЛ...

*книга памяти Н. А. Славина
писателя, фронтовика
Учителя, Человека*



*Керчь
2013*

ОН ЧЕЛОВЕК БЫЛ...
книга памяти Н. А. Славина
писателя, фронтовика,
учителя, человека



Керчь
2013

ББК 84.2 (Крым. - рус.)
О 17

«Он человек был...». Книга памяти Н. А. Славина – писателя, фронтовика, учителя, человека.
«КГЛито «Лира Боспора» 168 стр. 2013 г.

Редактор: Вдовенко А. Н
компьютерный набор,
макет, дизайн: Т. В. Левченко

ISBN 978-074-481-784-9

© «КГЛито «Лира Боспора» - макет, дизайн 2013 г.



МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВАС, УЧИТЕЛЬ!

Литературная Керчь понесла тяжелую утрату. 7 мая 2012 года после продолжительной болезни на 87-м году жизни остановилось сердце члена СП СССР с 1974 года, члена Союза русских, украинских и белорусских писателей Крыма, члена НСПУ, инвалида Великой Отечественной войны Наума Абрамовича Славина.

Из-под пера писателя, четверть века сочетавшего литературную работу с нелегким трудом учителя-историка, вышли книги: «Откровенный разговор» (1954г.), «Голуби в небе» (1960), «Мяч, капитан и команда» (1961), «Сашкино лето» (1965) и другие, которыми зачитывалось не одно поколение мальчишек и девчонок. Пришел 21-й век, а многие из них, этих книг, уже очень старенькие, с затертыми обложками до сих пор несут вахту на полках библиотек.

Однако основная часть творчества Наума Славина была связана с пережитой войной.

На фронт 18-летний Наум ушел сразу после окончания педучилища в Дагестане,

куда был эвакуирован с семьей. Служил в дивизионной разведке, прошел путь от Белоруссии до Берлина. Был ранен. Награжден орденами и медалями.

Рассказы очевидцев, собственные воспоминания и переживания той поры легли в основу его книг «Мы – разведчики» (1973), «Сестра» (1981), «В разведке» (1987), «Моложе нас не было» (1985).

Плодотворно работал писатель также в жанре рассказа и очерка, отразивших кроме военной темы, любовь автора к Керчи, искреннюю симпатию к ее жителям-труженикам: рыбакам, строителям, кораблям.

Но самым главным делом своей жизни Наум Абрамович считал вышедшую к 60-летию Великой Победы книгу «Эльтиген. Взгляд сквозь десятилетия»

Потребовавшая многолетней работы с архивным материалом, она представляет из себя историко-публицистическое исследование одного из драматических событий нашей военной истории – Эльтигенского десанта 1943 года под Керчью.

В этом небольшом по историческим меркам военном эпизоде силой писательской мысли нашла отражение вся война с ее действительными событиями и движущими их тайными пружинами, с ее удачами и ошибками, с великим народным подвигом.

Работая над ним, Наум Славин, писатель, историк, фронтовик, старался быть предельно честным и точным, выполняя свой долг перед потомками и перед товарищами по оружию.

Вообще же чувство долга, привитое в родительской семье, определило всю жизнь Наума Абрамовича. Оно проявляло себя и на фронте, и в мирной жизни, когда он, здоровый и не очень, помимо своей работы, брался за массу общественных дел: выполнял обязанности секретаря школьной парторганизации, руководил городским литобъединением, принимал активное участие в жизни керченской еврейской общины, в работе совета ветеранов, выступал на многочисленных митингах, посвященных событиям Великой Отечественной, читал лекции школьникам, много писал о тех, кто защищал Родину и о нелегких послевоенных судьбах многих из них.

Он ушел как жил, выполняя свой долг. Когда перед 9 мая ему позвонили из совета ветеранов и попросили написать статью к празднику, Наум Абрамович по своему обыкновению не отказал, хотя пальцы уже почти не могли держать ручку. Выручила старого солдата, написав под его диктовку, верная спутница, ангел-хранитель Лидия Николаевна, с которой он рука об руку прошел всю жизнь.

И уже была назначена дата похорон, а праздничные поздравления за подписью

Наума Славина читали все оставшиеся в живых керченские фронтовики, весь его любимый город...

Не верится, что его никогда больше не будет с нами, человека, к которому можно было прийти за советом, деятельного, надежного, принципиального, исполненного бесконечной душевной доброты.

О его скромности еще долго будут ходить легенды. Я видела только одно групповое фото, на котором во всех своих орденах и медалях стоит в центре снимка. Как пояснила, улыбаясь, жена, его просто вытолкнули вперед. В остальных же случаях он находил себе место где-нибудь с краю, поскольку считал дурным тоном выпячивать свою персону.

Но более всего он поразил меня на своем последнем 85-летнем юбилее, который из-за ухудшающегося здоровья отмечал дома в нешироком кругу родных и знакомых.

В тот вечер, вежливо выслушав поздравительные речи, Наум Абрамович с трудом поднялся из-за стола и задумчиво сказал:

– Вот про меня говорят, что я – писатель. Но я вот думаю, что писатель – это тот, кто все время пишет. А я написал не очень много. Я – учитель. Так будет правильнее.

Что ж, он и вправду был Учителем. И когда преподавал в школе, и когда вел занятия городского литобъединения. Он был

Учителем во всех своих книгах, во всей своей жизни.

Он и останется нашим Учителем. Еще не раз, попав в критическую ситуацию, мы мысленно спросим его совета. Еще не раз будем рассказывать о нем и гордиться, что были знакомы с этим замечательным человеком.

В моем домашнем архиве сохранился маленький рассказ Наума Славина. Никогда не работавший в таком жанре, он написал его мимоходом для городской газеты и за сколько-нибудь значимую для себя вещь не считал.

Но мне нравится перечитывать это произведение. Ну, казалось бы, небольшой эпизод из жизни пенсионеров, да картинка природы. Но за ними – душевная чуткость и тонкость Наума Абрамовича, его мудрый взгляд на жизнь. И еще в этом рассказе о верности и отступничестве, о благородстве и прощении. Стало быть – о вечном.

Елена Рабочая-Маринич





Портрет работы художника Б. А. Васильева-Пальма



Н. А. Славин

РАССКАЗЫ



ИЗ АДЖИМУШКАЙСКОЙ ТЕТРАДИ

Публикацию подготовил В. Славин

О публикации:

У отца был замысел написать книгу об Аджимушкае. Наверное, он считал это своим долгом. Очень немногие теперь знают о трагических обстоятельствах подземной обороны так глубоко и детально, как знал он. И дело тут не только в знании канвы событий, подробностей и частных фактов. Отец чувствовал и глубоко понимал трудную, большую тему Аджимушкая. Тему, в исследовании которой и поныне остаются большие пробелы, неясности, умолчания.

Отец говорил о том, насколько это нелегко: написать такую книгу. Тем более что его не отпускал Эльтиген - другая важная веха керченской военной истории. Книга о десанте писалась трудно, требовала немалых душевных сил.

Об Аджимушкае он написать не успел... Но недавно, разбирая его бумаги, я обнаружил тетрадь в плотной картонной обложке, и в ней - текст, который вы сейчас сможете прочитать. Написанный от руки, без помарок, четким

отцовским почерком. То есть, не черновик, а полностью подготовленная к перепечатке рукопись. Прочитав ее, я понял, что это не просто отрывок из начатой вещи, а *завершенный рассказ*. Возможно, отец, подступаясь к аджимушкайской-кой теме, планировал написать несколько рассказов. На то, что замысел не ограничивался одним текстом, говорит авторское название, предполагающее цикл рассказов: «Из аджимушкайской тетради».

Рукопись не была датирована, предполагаю, что рассказ написан в начале нулевых.

Насколько я могу судить, рассказ публикуется впервые.

В. Славин





Обеденного времени оставалось добрых полчаса, и Иван Антонович сошел с крыльца с неспешной хозяйской оглядкой. Солнце висело высоко, звонко била в лужицы капель. Около недобранной в зиму поленицы дров лежала Стрелка - охотничья лайка - и не поднялась, только шевельнула чуткими ушами. В ящике над калиткой Иван Антонович увидел сквозь прорези белое и позвал:

- Нюра, почту забери!

Он постоял, хотя вполне мог идти: почта ничего не обещала, кроме упрежденных телевизором газетных новостей. «Тяжело ступает Нюра, а про суставы молчит», - подумал Иван Антонович, глядя, как жена идет через двор по дощатому настилу. И была в этой замете тень вины, что он на работе может себя сохранить, а Нюру в домашней заводи быстрее настигает старость.

Жена первой нагнулась, когда из пачки газет выскользнул конверт и лег тыльной стороной на скат припавшего к забору серого сугроба. Иван Антонович ждал, от кого письмо. Дочка Клава жила здесь, на соседней улице. Невестка (сын Николай после армии женился в городе) присылала недавно открытку на отцовский день рождения. Приходили редко письма от

сестры Лизы и Ньюриной неблизкой родни. Больше никакой не имелось переписки.

- На мое имя, Горшковой Анне Егоровне. Адрес на Трактовой. Ваня, не пойму я! - жена будто звала защитить.

На Трактовой они сняли комнату в тридцать девятом году, когда только поженились и приехали из Кунгура, где Горшков учился в лесотехническом техникуме. Потом дважды меняли жилье, и вот уже полтора десятка лет у них была нынешняя квартира - половина леспромхозовского дома на Железнодорожной.

Он взял конверт с досадой, в которой пряталась опавшая в сердце тревога, достал из кармана полупальто очки. Название города в обратном адресе Иван Антонович прочитал без них, и холодок предчувствия ворохнулся в груди колючим комом.

- Ну, чего ты всполошилась? Читай, коли тебе.

Листок, вынутый из конверта, дрожал в Ньюриной руке. Она тихонько охнула. Потом, оберегая внезапную боль, пошла к дому. Доски прогибались, и в щели между ними набегала вода.

Они стояли в прихожей, дверь наружу не затворена, и перенимали друг у друга письмо. Девочка-семиклассница сообщала, что в каменоломнях, где во время войны оборонялись наши окруженные войска,

найден список со многими фамилиями, и школа ведет поиск. Далее с пропуском в две строки было добавлено: «Дорогая Анна Егоровна! Простите за тревожную весть. Ваш муж мл. политрук Горшков И.А. был среди защитников катакомб. Напишите нам его полное имя и, если можно, пришлите карточку. Мы хотим как можно больше знать про погибших героев. Напишите также про себя, как Вы живете. С уважением к Вам, Света Колесникова».

Нюра смотрела сквозь него, не вытирая щеки. В глазах застыло давнее страдание. И Иван Антонович в горькой растерянности поспешно сказал:

- Так теперь-то чего убиваться? Живой ведь я!

* * *

Когда в праздничные дни выходили ветераны при наградах, Иван Антонович тоже прикалывал на грудь серебряную «Славу», медаль «За отвагу» и прочие отличия. Не пожалел однажды просверлить в новом пиджаке дырку для потускневшего знака «Отличный минометчик». По военкоматским бумагам он проходил сержантом, командиром расчета. И сам привык помнить себя тем, кем завершил победную войну западнее немецкого города Ратенов. Но глубже, будто в подполье, существовала память другой весны, вернее,

уже лета, тремя годами раньше: внезапное крушение фронта и горечь поражения, сознание безысходности во мраке обложенной каменной норы.

То безвременье, продленное тяжким пробуждением за колючей проволокой, с простреленной грудью, казалось небылью. Была это словно другая война, безвестная, неитоженная. И сам он, истраченный ею вконец, счастливо ожил в совершенно другом человеке, намного старше летами и опытом, когда, бежав из эшелона пленных, поблуждав по Украине, обрел вновь силы и оружие у партизан, через отряд вернулся в армию.

В партии, понятно по тем временам, его не восстановили, о нововведенном офицерском звании он, младший политрук, прошедший плен, тоже не мог помышлять. Еще то хорошо, что у партизан он успел проявить себя в деле. Вернулся по демобилизации домой, увидел Нюру, ее руки, огрубевшие на лесоповале, - втянулся в полу-крестьянский скудный быт, утвердившийся здесь за время войны. Прошлое отрезало напрочь - зачем было его ворошить. На прежнюю должность техника его не звали. А ему свойственнее было среди рядовых рабочих, таких, как сам, недавних солдат. Здесь не смотрели, что у тебя в анкете, если только не спецпереселенец, да и заработок был выше. Позже Ивана Антоновича выдвинули все-

таки в бригадиры, но то уж по стажу и личным качествам - естественным ходом вещей.

Как ни прожито, назад не воротишь, и годы шли на закат. Он ничего не желал: заработать честно пенсию, еще побродить вольно в тайге с ружьишком и понятливой лайкой, дожждаться им с Ньюрой совершеннолетия внуков, затем - пора и честь знать... А тут непредугаданное письмо звало вспять, бредило в душе старое, угасшее: «Каким ты был, так ли скроил жизнь?» Он почувствовал, что и у жены мысли опасно обходят прошлое, когда она сказала:

- На погрузке не хватятся тебя? - Бригада складировала свезенный к путям зимний лес, и требовался присмотр, чтобы не допустить пересортицы.

Втянувшись в работу, обычно он забывался, и время текло вровень с делом. Иван Антонович вернулся домой устало облегченный, но вновь ощутил беспокойство, едва затворил калитку, и в комнате, прежде всего, глянул на угол стола, куда Ньюра клала свежие газеты, - письма там не было.

За ужином оба молчали. Ньюра прятала от мужа покрасневшие глаза. Иван Антонович зажег лампу-грибок, расправил перед собой газету, чтоб не класть чистую бумагу на клеенку.

Он не любил скорописки и в редких

случаях, когда составлял отчетность дома, пользовался ручкой-вставочкой и тяжелой мраморной чернильницей, подаренной ему в пятую годовщину бригадирства. В чернильнице остался сухой осадок, он налил горячей воды и развел. Нюра, видя приготовления, ушла в спальню. Телевизор не включала, хотя в программе был художественный фильм.

Иван Антонович смотрел в темное окно. Ему думалось, что люди ждут от него полного жизнеописания и оправданий, словно он намеренно не давал о себе знать. Вдруг он вспомнил, что просят прислать фотографию, и обрадовался поводу отодвинуть допытливый белый лист.

- Была карточка. Для Доски почета снимался, в костюме. Ты галстук гладила, мать. - Но в бархатном выпцветшем семейном альбоме среди перемешанных разных лет снимков не нашлось, чего искали. Одно к одному - все сегодня влекло Ивана Антоновича в прошлое, особенно, когда попадались довоенные фотографии Нюры. Въявь она уже не помнилась ему молодой и красивой.

- Непохожий ты здесь, Ваня, - сказала жена, поглядев на единственную отобранную карточку, паспортного формата, с уголком для печати, - совсем стариком выглядишь. Но сходить завтра к поселковому фотографу и сняться для особого случая ни у нее, ни у него мысли

не возникло.

Письмо получилось скупо укороченное, ему самому не понравилось - похоже на заявление. Горшков Иван Антонович, то есть я лично, вернулся с войны живой, работаю там-то, должность такая-то, спасибо за память. Посылаю карточку, лучше, извините, сейчас нет. Надписывая конверт, он видел перед глазами не девочку-подростка с крупным ученическим почерком, а солидных педагогов, почему-то одних мужчин в строгих пиджаках. Его тянуло скорее заклеить конверт. И утром, когда Нюра собиралась в магазин около почты, Иван Антонович положил письмо к себе во внутренний карман, чтобы отправить проходящим поездом. Отдал в багажный вагон и свалил груз с души.

* * *

Минуло полмесяца, и был возврат морозов, затем новая оттепель круче завернула к весне; дорога задержала порожняк, трещал план; письмо из потусторонней невообразимой дали начало забываться. Пока не пришло второе, на сей раз укарауленное Нюрой, каждый день, видать, поджидавшей разносчицу. Конверт стоял на ребре, прислоненный к хлебнице.

- Не стала я распечатывать. Боязно без тебя.

Он молча, в хмурой сдержанности

надорвал угол конверта и пальцем изнутри пропорол боковину. В конверте кроме письма Светы Колесниковой содержалось официальное отношение со штампом. Иван Антонович сперва развернул его.

Школа (стояли подписи директора и секретаря партбюро) просила начальника предприятия, где работает И.А. Горшков, дать ему возможность приехать на День освобождения города, защитником которого он являлся. На Ивана Антоновича произвела впечатление сама бумага, солидность машинописного текста. Видимо, его приезду придавалось значение, коего он не предполагал. Нюра читала вместе с ним, наклонившись над плечом.

- Ты там геройство совершил, Иван? Мне никогда не говорил.

- Какое геройство! - Он не мог объяснить, дать оценку той давности, куда по прошествии многих лет настойчиво обращали его память. Так жестоко свелись обстоятельства, что стерлась грань между подвигом и прямой необходимостью. Рядом были вера и шатания, неколебимость духа и жажда уцелеть. Военная катастрофа при очевидной растерянности, неспособности командования потрясла каждого и поставила перед крайним выбором. Для политработника, хоть и низшего ранга, Горшкова не оставалось, собственно, иного, как умереть, подороже отдав свою жизнь.

- Видишь, - укорила его жена

девочкиным письмом, - «отзываются родственники, вы один живой герой».

Он ничего не ответил. Ясно, школьникам интересны рассказы про боевые дела, про жизнь в подземелье. А что он может поведать - поучительно, веско? Кого достоверно назовет? Даже на простой вопрос, сколько дней пробыл в каменоломнях, он не ответит. Дней в прямом понимании у них там не существовало. Только ночь, сон, более похожий на болезненное забытье. Вылазки в предрассветные часы за линию вражеского оцепления. Специально отряженная команда завладевала колодцем. Во дворах безлюдного поселка иногда находили припрятанные жителями зерно, вяленную рыбу. Вода и пища. Оружие, выхваченное из рук поверженного врага. Не могли же они рассчитывать на большее, на выход из окружения, если вокруг голая степь и дальше море. Возвращались изреженные группы, а внешнее обширное пространство каменоломен, поросшее полынью, изрытое воронками, гуще пятнали бугорки неподвижных тел.

В штольне тлел огонек просмоленного кабеля - другого не имелось освещения. Во тьме неотчетливо проступали лица. Остаточные группы из разных частей, случайное смешение званий и родов оружия - здесь они составили новое воинское формирование, с установленной

субординацией, с подразделениями и штабом. Без организации они не продержались бы и двух-трех суток. Однако из старших начальников Иван Горшков знал только одного, и то видел его, когда еще не ушли под землю. Знал лейтенанта-ротного, чьи донесения вместе со списками личного состава мальчишки отрыли в завале.

Как политрук он говорил бойцам про ожидаемый спасительный десант и неизбежный перелом на фронте. Разумеется, он был осведомлен не намного лучше своих слушателей, но слова жадно ловили, к беседе тянулись, как к огню...

* * *

Присланное из школы отношение обязывало идти в контору леспромхоза. Досадуя на надобность быть ходатаем в собственном деле, Иван Антонович попросился назавтра к директору.

- Вот не думал, не гадал. - Он положил форменную бумагу и деликатно отступил от стола. Его удовлетворило бы краткое и вразумительное: мол, знаешь, Горшков, в каком положении план. Да и так ли уж тянет его проведать места, с которыми связан лишь тяжестью прожитого? У директора на переносице вспухла широкая складка. Он показал Ивану Антоновичу на диван и взял телефонную трубку.

- Сергей Карпович (парторгу), зайди ко мне. - Складка все не разглаживалась. - Федора Степановича заодно прихвати.

Много протекло времени, и еще больше должно было совершиться перемен в жизни, чтобы давняя беда Горшкова обратилась в заслугу. После войны и демобилизации не раз он писал объяснения. Но проверяющие не вдумывались в детали. Карандаш жирно отчеркивал: «Был в плену». Пометка, как неистребимая улика, оседала в анкетах и наверняка сохранялась у кадровика Федора Степановича. Теперь он заново обведет ее красным.

Из руководства один Сергей Карпович был коренной, местный. Он вошел прежде кадровика. Тот явился чуть погодя, и Иван Антонович опять неловко вставал для рукопожатия. С кадровиком у него случались нелады касательно комплектования бригады. Пока бумага со штампом переходила из рук в руки, Иван Антонович сидел на диване, потупившись. Ему не в привычку было внимание вышестоящих. И не осталась незамеченной тень неудовольствия на узком лице Федора Степановича.

- Помнится, вас пропавшим без вести считали, - потер лоб парторг, - Анна Егоровна верила: «Придет письмо». Они с моей сестрой Тоней подруги были.

- Да-а, - протянул кадровик, - пуд соли вместе съесть - все равно мало, чтоб узнать

человека.

- Так! - Директор переставил на столе пресс-папье. На совещаниях это был знак итога и принятого решения. - Десять дней вам дадим без содержания, с выходными две недели наберется. - Он поднял глаза на парторга и добавил: - Дорогу оплатим из моего фонда.

Кабинет Иван Антонович покинул с чувством легкости и одновременно обретенного долга, будто обязал себя кредитом сверх возможности выплатить. Секретарша посмотрела на него пристально, и народ возле конторы, казалось, прервал разговор при появлении бригадира Горшкова.

Верно было то, что с этого дня на работе, вообще в поселке его заметили с внимательностью, с долей неназойливого любопытства. Встречные на улице первые здоровались с Иваном Антоновичем. А учитель географии, постоянно печатавшийся в районной газете, явно предугадано перехватил его однажды возвращающегося с работы.

- Добрый вечер, товарищ Горшков! Знаю, знаю, слухом земля полнится. Я ведь тоже воевал в тех краях. Ну, сорок четвертый год, совершенно другая обстановка. - Он достал коробку дорогих папирос, купленных в поездном ресторане; Иван Антонович, давно бросивший курить, не считал удобным отказываться от угощения.

- Едете на свидание с фронтовой молодостью? После не откажите во встрече.

Дома Нюра упреждала каждый его шаг. Вдруг надолго она задумывалась, глаза уходили вглубь, он видел неспрятанные следы слез. Пора было заказывать билет. Иван Антонович знал, как тягостно ей будет коротать одиночество. И от невольной вины за освеженную старую боль он нашелся и упрекнул себя, что не сказал раньше:

- Знаешь, мать, покатаем вместе. Свет повидишь.

Жена будто ждала и ответила сразу:

- Чудишь ты, Ваня. А дом, огород - весна на дворе? Курочки-несушки? Соседский Сашка, хотела тебе сказать, спичками балуется. Вернемся, а тут головешки черные.

Своими возражениями она пуце разогрела в нем желание все преодолеть и устроить.

- Ничего с домом не станется. Огород Клава картошкой закидает и курочек присмотрит - всего трудов. Право, Нюша, одному и дорога долга. - Он знал, как вернее потеснить ее боязнь.

* * *

Их провожали дочка с мужем и внуком Витькой. Умная Стрелка жалась к Сергею.

Поезд стоял всего три минуты, и Нюра боялась высоких ступенек. Витька раскричался, хотел тоже в вагон. Когда проезжали вокзал, Иван Антонович увидел в окно своего помощника по бригаде Васькова. Тот побоялся влезать в семейные провода, карман ватника топорщился стеснительно бутылкой.

Плацкартное купе было пусто. До пересадки предстояло ехать почти полтора суток. И хотя им с Нюрой продали два нижних места, Иван Антонович посидел немного рядом с женой и спустил себе верхнюю полку.

- Пойду, постели возьму.

Нюре было неудобно в тесноватом жакете, но расстегнуть пуговицы она не решалась.

- Давай поедим чего, - предложил Иван Антонович, чтобы Нюра скорее освоилась.

Половину ночи он не спал от непривычки в тряском расшатанном вагоне. Нюра лежала, не двигаясь, но тоже не спала. Место напротив нее заняли две девушки. Голова к голове они дремали сидя среди нерасованных беспечно свертков и сумок. Ивану Антоновичу, глядя на них, сделалось спокойно, он отвернулся к переборке и уснул.

Весь день поезд не спеша вытягивался из таежной ветки. Девушки сошли до завтрака, садились и сходили другие местные пассажиры. Нюра после ночи

почувствовала себя в купе хозяйкой, расспрашивала попутчиков, угощала испеченным в дорогу пирогом с яйцами. Мимо окон пробегали сосны, близ насыпи чахлые, с ржавой хвоей. Мелькали белые прочерки берез. Станционные обочины всюду были загромождены штабелями невывезенного леса. И у Ивана Антоновича возникло навязчивое чувство, будто поезд колесит по кругу. Неудивительно, если сейчас выплывет знакомая эстакада и появится Васьков, озабоченно вышагивающий вдоль платформ.

Ивана Антоновича тревожила пересадка в Свердловске. Но сезон еще не начался, летнее южное направление оставалось пока не загружено. Так что прокомпостировать билеты удалось вовремя. Утром следующего дня Горшковы были снова на колесах.

Им обоим были в новизну дорога, перемена лиц, завлекало бесконечное разнообразие пространства. Вернувшись с войны, Иван Антонович никуда не ездил. Города и страны, где он побывал не сам по себе, не по собственной воле, выпали из жизни, как лишняя карта в колоде. А тут неожиданно сломалась рутинная устоявшихся будней. Цель поездки была далека и туманна; часами они сидели у вагонного окна, и Нюра расспрашивала про очередное географическое диво, хотя давно они уравнились в необязательных знаниях, читали одни и те же газеты и телевизор

вечерами смотрели вместе. Нюра даже имела вдобавок преимущество дневных образовательных программ.

На каком-то ночном перегоне Ивана Антоновича вдруг покинул сон. За окном лежала непроглядная темень: далеко осталось северное сумеречное небо. Вагон неся на едином дыхании, будто его пустили под уклон без тормозов. В проходе слышались вздохи, приглушенный женский говор. Бессонные голоса окунали Ивана Антоновича в насыщенную толщу ушедших лет.

* * *

...Ему представился вокзал: эхо под сводами, колючие сквозняки. Команда - общий литер на тридцать человек - добиралась из Саратова в тыловой район фронта, где ожидалось назначения. Женщины с мешками и кофровыми сумками потеснились, высвобождая военным место на кафельном полу. Они кутались в темные платки, непонятная речь была печальна, как взор глубоких горских глаз.

Был февраль сорок второго, морозный и вьюжный. Сибирякам зазорно жаловаться на холод, но с ветра на перроне они пришли в спущенных ушанках, ноги стыли в твердых кирзачах. В команде имелся старшой - лейтенант, все прочие -

аттестованные досрочно младшими политруками курсанты военного набора. Кубарь в петлицах и комиссарская звезда на рукаве солдатской шинели. Они держали себя солидно, главным образом из-за этих звезд, хотя преобладали среди них совсем молодые ребята. Зато образование на том возрастном уровне было высокое: десятилетка, а то и курс института. У немногих, кто постарше, нехватка учености восполнялась жизненным опытом. На таком равновесии основывались, должно быть, при комплектовании курсов.

Иван Горшков уважительно поглядывал на студентов-свердловчан, томичей. Про себя, помнится, он решил, что после войны, если будет жив, не остановится на своем техникуме - пойдет в институт. Семья и зрелые лета по тогдашним понятиям не могли мешать личностному росту.

После прошлогодних горьких потерь было время возрожденных надежд. Оставление Украины, отход до стен Москвы рассматривали почти как преднамеренную стратегию, кутузовский маневр; соответственно ближайшие военные перспективы толковались очень оптимистично. Можно понять вчерашних курсантов, их молодость, веру. В верхах и то не представляли, сколько усилий и жертв понадобится принести на алтарь полной победы. Сталин в праздничном

докладе 6 ноября говорил, что еще полгода - год и гитлеровская Германия рухнет под тяжестью своих преступлений. Авторитет Сталина оставался непререкаем. Он ведь сказал: «Москву не отдадим», - и не отдали. Крайний срок окончания войны выпадал по этим словам на лето или осень.

Новоиспеченные политработники боялись отстать в дороге от событий. Добрые новости, однако, сразу становились известны. Достаточно схватить на остановке две-три левитановские фразы из радиорупора, либо просто потолкаться возле крана с кипятком.

- Тихо, товарищи! Было сообщение «В последний час»! - Излишне поминать про тишину, если все взоры и так обращены на говорящего. - Под Демянском окружена 16-я немецкая армия.

Никто не представлял себе конфигурацию малоизвестного Северо-Западного фронта, и 16-я армия в сводках упоминалась впервые. Однако это не мешало делать смелые, далеко идущие выводы. Успех в районе Ильмень-озера несомненно отзовется под Ленинградом. Гитлеровские резервы истощены, и враг будет вынужден ослабить центральную группировку. Значит, самое время усилить нажим на юге.

Славные были товарищи: многие отказались от тыловой брони, - добровольцы по высокому идейному

побуждению. Сопровождающий лейтенант знал: с чего ни начнется разговор, обязательно выльется в открыто выраженное общее недовольство. Долго стоим на станциях, отмечаемся, очередь выдерживаем и прибудем к шапочному разбору.

Больно помыслить, что редко кто мог уцелеть из той команды. Фронт, куда они ехали, протяженностью был мал, и при отходе произошло смещение частей. Захочешь - не разминешься. Но лишь один сокурсник повстречался Ивану Антоновичу за все последующие годы войны, да и то в таком месте, где не позавидуешь живому. Видать, короток был путь новоприбывших на передний край, на острие гибельных атак. И полегли они, не успев приноровиться к жестокой фронтовой реальности. Полегли, ибо неукоснительное исполнение приказа не предоставляло выбора.

Ивану же Горшкову выпал другой жребий. В ожидании переправы команду расселили по частным домам в одноэтажном приморском городке. Для четверых военных хозяйка выделила лучшую комнату, приготовила постели со свежими простынями. У нее не было запасенных дров, и утром постояльцы сторговали вязанку хвороста, доставленную на ишаке старым адыгом. Вечером при строгой маскировке включалось

электричество. Работало радио. Горшков с удовольствием слушал музыку. Либо харьковчанин Текленко доставал из сумки томик Шевченко. Украинские стихи в чтении Текленко звучали почти как по-русски.

Глухой ночью ожил репродуктор. Воздушная тревога! На хозяйской половине заплакала выхваченная из постели девочка. Товарищи Горшкова поворочались и глубже зарылись в подушки. Он не стал их поднимать, обулся намеренно неторопливо и вышел на крыльцо. Темноту над морем кромсали прожекторные лучи. Издалека, нарастая, плыл завывающий гул, вкрадчивый, словно прячущий до времени свою беспощадную суть. Иван Горшков впервые слышал близкий голос смерти - сердце томилось тоскливым ожиданием. Наверное, это и есть самое тяжкое - не мгновенный провал в небытие. Завораживающая поступь злой угрозы, и твое бессилие противиться ей. Много раз впоследствии душу Ивана Горшкова терзал ужас настигающей смерти, и всегда он желал одного: встретить ее грудью, глянуть в пустые глазницы и успеть хоть кулаки сжать, если ничего нет под рукою. В такие минуты гибель в открытом бою казалась великим счастьем.

Небо взблескивало искорками зенитного огня, будто раскалывались звезды. В ноги толкнули жесткие удары

бомб.

- Ховайтесь! - У хозяйки был во дворе погреб.

Женщина никак не могла нашарить ногой лестницу. Иван Горшков перехватил у нее закутанную в одеяло дочку и отдал вниз в протянутые руки. В этот момент ему сильно ожгло спину. Он упал на каменный порожек, а очнулся в местном госпитале. Его ранило осколком нашего снаряда, стеганый ватник смягчил удар. Товарищи отбыли на фронт. Зато хозяйка Ефросинья Никифоровна приходила ежедневно, приносила яблоки и ароматные кукурузные лепешки. Горшков стеснялся брать, знал, что у самой негусто. Ефросинья Никифоровна была матросская вдова, старше его, дебелая и статная. Кроме младшей девочки она имела еще мальчишку, который во время бомбежки ночевал у бабушки.

- Не надо мне ничего, а вы от детей отрываете.

Она искренне удивлялась, апеллировала к палате:

- Та мы ж дома, у мене хозяйство!

В присутствии этой женщины Горшков острее досадовал на глупое ранение: мог быть уже в части, в должности, и выслать Нюре аттестат.

- Чего теряешься, сибиряк? Видишь, баба к тебе душой и телом, - хохотнул как-то после очередного посещения сосед,

сигнальщик с эсминца, потерявший ногу в ночь взятия Феодосии. - Просись к ей на поправку, доктора отпустят.

Горшков без того видел, что не только участие и благодарность (она считала, что он заслонил собой дочку) движут квартирной хозяйкой. День выписки он ей не объявил и не зашел попрощаться. Наверное, очень обидел простосердечную женщину. Думая теперь о ней и детях, он чувствовал странное размягчение, какую-то свою неправоту. Ничего не было близко, а ведь жене ни словом не обмолвился про ту вдову.

Таким-то образом Иван Горшков невольно отстал от своей команды, и на фронте очутился в середине апреля, в пору недолгого затишья. Случайную рану он в счет не брал, хотя имелась выписанная по форме госпитальная справка, и под правой лопаткой остался грубый рубец. Эту рану он схлопотал вне строя, находясь среди гражданских лиц, сам будучи почти на гражданском положении. Немалое значение для него тогдашнего имело и то обстоятельство, что осколок был наш. Дни, проведенные в покое и тепле, домашняя мягкая постель, благодное пребывание в тыловом госпитале, лестное внимание женщины - все представало в столь резком несоответствии с пережитым позднее, что теперь вызывало у Ивана Антоновича чувство неловкости, даже стыда. От того,

что не разделил судьбу безвестно сгинувших товарищей и всего более от своей тогдашней неготовности к тому, что предстояло.

* * *

С полночного часа в вагоне, куда проводницы набрали едущих с корзинами женщин, Ивана Антоновича не отпускало ожидание близкой встречи. С кем или с чем, и что ему от нее, он не мог объяснить. Однако дорога и пробегаемые поездом местности потеряли для него привлекательность, Он ел с женой, пил чай, потом взбирался наверх и не спал, уставив взгляд в пластиковую обивку багажной полки. Когда Нюра вставала посмотреть, что там муж, Иван Антонович улыбался ей молча и успокоительно.

Знающие пассажиры посоветовали Горшковым сойти раньше, на полустанке, откуда в нужную им часть города есть прямой автобус. Ступив на перрон, Иван Антонович глубоко втянул в грудь ранний весенний дух степи, запах молодой полыни и нагретых солнцем каменных осыпей.

- Памятники, Ваня!

На скальной круче высился обелиск. И дальше на склонах холмов там и сям белели в окружении зелени каменные пирамидки как укорененная принадлежность здешнего пейзажа.

Нюра наклонилась взять дорожную сумку, Иван Антонович отвел ее руку и уловил быстрый встревоженный взгляд.

- Погоди, сейчас, мать.

Он не хотел обнаруживать - до головокружения, до дрожи в коленях - нахлынувшую слабость. И впервые подумал, что напрасно, может статься, везет с собой жену. Груз избыточного прошлого пригнетет и ее - для женщины тяжелее и горше.

Подъехал автобус и развернулся в обратную сторону. Водитель придержал дверь открытой, чтобы вошла пожилая пара. Больше на кольцевой остановке не было пассажиров.

Горшковы в мыслях не имели, что им подобает особенная встреча, и в школу они явились не ко времени.

У школы есть внешняя праздничная сторона жизни с торжественными построениями, равнением на знамя. Ученики приходят наглаженные, девочки в белых фартуках. Гости, ветераны при полном наборе наград, умиляются; растроганно они вспоминают пионерские линейки своего детства.

Учебная же школьная повседневность мало привлекательна для постороннего человека. Он пройдет мимо классов, и на него пахнет парной духотой. Он услышит сквозь дверь крамольный гул неинтересного урока и раздраженную нотацию педагога. А

застигнутый в коридоре звонком, совершенно потеряется в толчее перемены. Иван Антонович и Нюра покорно ждали, когда на лестнице иссякнет сорвавшаяся ученическая лавина. Дежурная сторожиха увела их в свою каморку при раздевалке. На крючках одиноко висели позабытые с зимы пальтишки и шарфы.

- На переменке нельзя к нам ходить. Собьют - недорого возьмут. Чаю не попьете с дороги? У меня включенный.

Горшковы в два голоса просили женщину не беспокоиться

- Ну, свободней сделалось. Стой, дите! - Она поманила пробегавшую мимо девочку.
- Вещи у меня оставите, зачем везде таскать.

В учительской комнате былолюдно, разговаривали громко. Учителя не остыли от урока, а через несколько минут им снова в классы. Иван Антонович попятился обратно в дверь. Но в комнате догадались, что за посетители. Их зазвали и окружили с приветными словами, с расспросами, усадили на видном месте возле большого овального стола, с которого унесли горку деревянных транспортиров и циркулей. Вошел высокий полуседой мужчина - директор.

- Алексей Михайлович, вот дорогие гости!

Директор пожал руку Ивану Антоновичу. Нюра не знала, подавать ли

свою. Он легонько коснулся ее руки пальцами. Прозвенело на урок, и учительская комната опустела.

Алексей Михайлович хромал. Его кабинет был не заперт, поместив приехавших в кресла по обе стороны стола, директор сел на стул. Вытянутая негнущаяся нога вздрагивала.

- Знаю, чем вас обрадую, Иван Антонович. Есть живые ваши товарищи. Письма к ним не сразу добрались. Пять человек отозвались. Вечером встречаем Савицкого и Яценко.

- Может быть, узнаю в лицо, - только и сказал Иван Антонович. Другие фамилии директор не назвал: наверное, хотел избавить его от неопределенного гадания.

Главное - люди живые. Иван Антонович узнал, что съезжаются также родные погибших: жены, сыновья, дочери. Директор сказал, что Горшкова с нетерпением ждут.

- Я готов. - Встал Иван Антонович, и Нюра с ним.

- Но прежде прочитайте. - Директор протянул конверт.

- Темирбаев, казах! - Память осторожно разматывала слабую ниточку.

Писала Кабира Темирбаева. Начало было сдержанно, почерк четкий. Но потом прорывался вопль наболевшего сердца, и буквы расплывались. «Нет, вы не договариваете. Молю, не скрывайте от меня! Может, он живой? Скажите ему, я

буду его на руках носить».

Нюра плакала. Иван Антонович вложил листок в конверт.

- Нету в живых Темирбаева.

Казах умер, как умирали в лагере ежедневно, от кровавого поноса, вернее, от истощения организма, неспособного противиться заразе. А фамилию он запомнил по надписи, выбитой точками на алюминиевой кружке. Из нее Горшкова поили лежачего. Объяснять, на чем основана уверенность в смерти Темирбаева, Иван Антонович не стал, и директор не спрашивал. Он лишь попросил взять письмо себе.

- Напишите Темирбаевой.

Девушка-пионервожатая повела Горшковых в спортивный зал, где на раскладушках размещались приехавшие. Письмо казашки лежало во внутреннем кармане пиджака. Какое оно должно было произвести действие, от чего косвенно предостерегал директор? Иван Антонович понимал, что сказанное им сразу возымеет силу свидетельства. Все, каждое его слово будут толковать, ссылаться на него, искать сокровенный подразумеваемый смысл. Он знал про человеческую склонность заблуждаться, где полужнание хуже незнания.

Его обступили давно увядшие женщины, их взрослые дети. Наперебой ему показывали старые фотографии, твердили

имена. Но память словно истощилась одной единственной вспышкой и напрасно искала какую-нибудь зацепку. Чем пристальнее он всматривался - гуще наплывал туман, и зыбкие образы тонули в нем.

Люди презрели немощи, дорожную тяготу и расходы, приехали издалека по первому зову. Чего они жаждали? Ясности, определенности в судьбе мужа, отца, признанной утвержденности его честного имени и покоя собственной душе. Им надо знать все - так они искренне полагали. И не могли, подобно Кабире Темирбаевой, принять несомненность смерти. В глазах, в недомолвленном слове сквозил страх окончательного, не оставляющего места надеждам известия. За долгие прошедшие годы они срослись со своим ожиданием и теперь безотчетно отодвигали минуту прозрения, их терзали несоединимые чувства. Даже тех, кто упоминал об официально заявленном факте смерти и документе для пенсии. Пуще всего эти пострадавшие женщины боялись потерять последнее, что у них оставалось: веру в чудесное воскрешение родного человека из небытия. Когда Иван Антонович оговорился, что носил к братской могиле тела удушенных газами, плачущая ближайшая слушательница защитилась рукой: «Нет-нет! Не надо!»

Наконец, его отпустили, он сказал Нюре, что пойдет в дежурку за вещами.

Возле двери ждала Света Колесникова.

По аккуратным письмам Ивану Антоновичу представлялась школьница с косками, с потупленными глазами - в полной родительской и учительской власти. Была в этом образе трогательная обязательность и наивность, не ведающая, что могут сотворить в чужой жизни выписанные прилежно на бумаге правильно составленные фразы. В подлинной Свете не было милой взрослому безликой детскости. Смотрела она неробко, чуткие брови взлетали, выражая вопрос, выдавая скрытую строптивость, сомнение, обиду...

- Нюра! Нюра! Чего мы наделали. - Оказывается, Света и ее мама честь по чести ждали Горшковых на городском вокзале и не дождались, расстроились, конечно. Свету специально отпускали с последних двух уроков.

-Такси заказывали?! - вместе с мужем ужасалась Нюра, - Ваня, надо деньги отдать.

В такой неурядице нельзя было отвергнуть предложение Колесниковых поселиться у них.

- Неловко вроде, Ваня.

Сторожиха в раздевалке помогла преодолеть колебания Нюры:

- Маму ее я знаю, уважительная женщина. А наши здесь какие удобства? В кране вода когда течет, когда нет, в туалетах хлорка. Одно слово — школа.

Света взяла у Нюры сумку.

* * *

Два сотоварища Горшкова вышли в разных концах поезда. К зданию вокзала, где ждал с другими встречающими Иван Антонович, привели тучного, шумно дышащего человека - Яценко. Какой-то миг колебания не дал им обняться. Яценко несколько раз тиснул ладонь и отпустил. Второй, со следами ожогов на лице, Савицкий обменялся с обоими также простым рукопожатием. Он держал перед собою, как бы отгораживаясь им, брошенный на левую руку плащ.

- Я, по правде сказать, недолго под землей находился. Мы переправиться думали.

- Вот зустрілись хлопцы, - повторял Яценко. Потом перешел на русскую речь. - Значит, судьба была встретиться, такое дело, братки.

Ивана Антоновича сковывало многолюдье, почтительно внимающее окружение. Вроде совершалось ритуальное действие, а они, в главных ролях, плохо научены, как себя держать. И он, и вновь приехавшие не знали друг друга, не ощутили родства и товарищеского притяжения. В автобусе они сели не вместе.

Вечерние улицы в пункте одинаковых огней, в редкой расцветке неона никак не

связывались с именем города, словно не имели в нем корня и существовали отдельно. И столь же далеки от прежнего бытия были два человека, которых привез поезд. Когда-то их и Ивана Антоновича пути случайно пересеклись, чтобы потом разойтись безвозвратно. Для него годы чужой жизни, вмещающие войну, и плен, и долгое последующее существование, были темны и немы, как, впрочем, и его для них.

Встречи и впечатления дня убеждали Ивана Антоновича, что поездка напрасная, без проку ему и людям. Зачем было ехать и жену везти. Только ли, чтобы растревлять себя и явственнее ощутить опустошающий бег времени? Следовало, однако, ничем не обнаруживать свои настроения, скрыть даже от Нюры. Сколько потребуется и насколько хватит отпущенных ему дней, он пробудет здесь, исполнит, чего от него ждут. Обязывая себя таким образом, он думал о Свете Колесниковой и добром, по всему видать, человеке школьном директоре.

Ночь Иван Антонович спал без сновидений, встал и оделся, услышав звук отпираемой двери. Нюра успела сходить с хозяйкой Зоей Ивановной в магазин. Гостей позвали к столу. Иван Антонович ел машинально, не похвалил, как вчера, хозяйкины блюда.

- Не привыкну к разнице во времени, - проговорил Иван Антонович, чтобы успокоить Нюру, чутко улавливающую

состояния мужа.

Было воскресное утро, но Света заторопилась в школу и вернулась с новостью: приехали еще три бойца подземного гарнизона. На улице Света оборачивалась, поспевают ли за нею старички. Перед школьными воротами стояли вчерашний разъездной автобус и новый вместительный «Турист».

Приехавшие ночью были Шебунин, Бевз и Погосян с женой. Погосян помнил Шебунина и называл много фамилий, Горшкова нынче не осаждали расспросами, внимание переключилось на новые лица. Оставив Ньюру среди женщин, он ступил к забору, в тень акаций. Жаркий, потный с солнцепека, подошел Яценко.

- Ты ж понимаешь, он говорит: «Степан, мы трое выходили». - «Не знаю, не помню». - Шебунин, оказывается, не признал Погосяна, - «Как же не помнишь? С нами Карачурин был из Мензелинска». - «Не знаю такого». И весь разговор. Шось у него не того.

Нюра взяла Ивана Антоновича под руку; он не заметил, когда она оказалась рядом. Народ толпился около машин. Гостей пропустили в большой автобус на удобные кресла. В проходе стеснились пионеры, пахло жареными семечками. Позади Горшковых сидели жена и сын лейтенанта Трибрата. Вчера Иван Антонович в спортзале говорил с ними, и

теперь он знал фамилию ротного командира.

Город кружил перекрестками, устроенные кварталы перемежались пустырями и огородами. Иван Антонович скоро потерял ориентировку. Обелиск, ожидаемый справа, вдруг открылся тыльной гранью на противоположной стороне. Машины стали в конце по-деревенски просторной улицы, и Иван Антонович не поверил, что приехали.

Тогда, давно, он очутился в катакомбах после недели боев, бомбежек, ночных рывков из окружений. Танки вклинивались между отступающими, давили и расстреливали. Всю степь окутывала едкая известковая пыль, поднятая бомбами, взбитая бесчисленными колесами и гусеницами. От прикрытия, оставленного учбатом, куда после Первомай Горшкова определили на стажировку, уцелело несколько человек. Они пристали к сборной части из остатков трех дивизий. Город, уже занятый врагом, обошли ночью, и затем, во время блокады, город был недосыгаемо далеко. Из амбразур и лазов они видели только край каменного карьера, оплетенный колючей проволокой. Для человека, прячущегося в земле, передвигающегося ползком, все расстояния увеличены многократно.

- Иван, а Иван, не видать каменоломни,
- приговаривала Нюра, подавленная

ожидаемым. Он и жену не подготовил, и не знал, с чем сам придет сюда, какие чувства родит встреча со Скалой.

Скала была вечна, как земная твердь, и стелилась под степью неизведанно широко, уходя под слои глин, исчезая и вновь обнажаясь где-нибудь за много километров. Люди испокон веков пилили камень, возводили и перестраивали город, из ракушечника все дома, сараи и заборы в округе. Раны пустот, оставленные камнерезами, врачевала глубинная тьма - сродни

застывшему неподвижному времени. И осыпи камня, провалы и воронки будили в душе память вечности. Они были, как волны, бороздящие поверхность Скалы, - миг движения, вмещающий смену многих человеческих поколений.

Тропинка вилась в гущине мертвой прошлогодней травы. На спуске из-под ног посыпалась ракушечная крошка – тырса (не думал, что вспомнится местное слово). Иван Антонович помог сойти Нюре и шедшим сзади женщинам. Его не тянуло к барабанному бою и голосам детей. Он отклонился от тропки и шел один, наугад, цепляясь за неверные плети бурьяна, съезжая в воронки.

* * *

Звон... Звон... Из темного провала, недоступно обрамленного терновником, или

из лазури распахнутых небес... Звук протяжный, настойчивый он слышал в себе, как зов давности, как пробуждение. Сердце билось резко, сильно. Ветер гнул былинки на навороченном взрывом гребне. Иван Антонович, удивленный, осмотрелся. Местность словно развернуло на невидимой оси, и все расставилось, как должно, как он знал. Поселок и дорога в город. Колодец в низине. Щербины заделаны цементом и поставлен ворот. Давно неезженная колея выбирается из скалы пологим витком: так легче было лошадям тянуть груженную камнем подводу.

- Политрук!

Не думая, он пригнулся к гребню. Когда-то оклик спас его от пули, и она выскочила мимо, брызнув колючей тырсой.

Это случилось в первое утро подземного пребывания. Ночью они ворвались из степи в поселок, в грохот и вспышки слепого боя, и здесь соединились с армейским арьергардом, занимавшим каменоломни. Ни здешние, ни новоприбывшие не подозревали, какой им выпал общий жребий, не знали, что переправа кончена, и пути никуда нет. Катакомбы казались временным пристанищем. Они сдали раненых в подземную санчасть, вконец обессиленные повалились спать под каменным кровом.

Выработки напротив главного входа служили своего рода шахтным двором: сюда

днем проникал рассеянный свет, и на три стороны расходились галереи, через которые в мирное время вывозили добытый ракушечник. В галереях обосновались подразделения арьергарда, теперь никого уже не прикрывавшего. Проснувшиеся новички осознали пока лишь то, что из одного окружения попали в другое.

- Придушат здесь, как крыс!

- Воды нет, сухаря завалищего.

Наверху начали рваться снаряды: похоже, свои, - и людскую тесноту взбудоражило освеженной надеждой. Если открыла огонь артиллерия, значит, наши контратакуют.

- Ударим с тылу, что командиры думают!

- Здесь старше наших начальники.

- Сторонись! Дорогу!.. - К выходу протискивалась группа с автоматами и в касках.

- Стой! За своеволие - к расстрелу! - Из глубины вышли несколько командиров.

Приказная твердость в голосе батальонного комиссара остановила автоматчиков.

- Выход караулят немецкие пулеметы. Умереть - так с пользой! - Голос то усиливался резонансом, то гас, увязая в пустотах. - Проявляйте красноармейскую выдержку, товарищи.

Снаряды продолжали рваться с неправильными промежутками. Многоликая

масса придерживала дыхание, будто от нее зависело вызвать огонь сильнее и слить вместе редкие разрывы. Темные запавшие глаза комиссара выбрали Горшкова, и он, притянутый ими, ступил ближе.

- Пойдешь в разведку, младший политрук. Определись, откуда бьют, и как реагируют немцы. - Задание было высказано тоном полуприказа, полупросьбы. Все-таки стихией этого человека были не жесткие повелительные формулы. Он намеренно выказывал доверие новичку: строевой командир вряд ли рискнул бы положиться на неизвестного.

С Иваном Горшковым отправился сержант-артиллерист. Лазутчиков провели к малозаметной, вырытой талой водой щели. Старшина охранения сделал предостерегающий знак.

- Сторожат, как коты мыша. - Он взял у красноармейца гранату и швырнул вперед. Дождавшись взрыва, отполз от щели.

У Горшкова имелся наган и на шее комиссаров бинокль. Он выбрался наружу первый, свет и тепло блаженно охватили тело. Сержант благополучно перебежал площадку. Опасения старшины оказались напрасны: немцев, живых или убитых, поблизости не было. Сияло небо, и высокое хорканье снарядов походило на звучные махи перелетных гусиных стай. Когда в начале мая гуси появлялись над передовой, солдаты обеих сторон забывали про войну и

из траншей палили вслед. Гулкая стрельба катилась вдоль фронта.

- С косы 152-миллиметровые. Бьют по площадям батареями неполного состава. - Через паузу сержант закончил: - Пустое дело.

Улицы поселка были безлюдны. Вражеская пехота ввиду обстрела отсиживалась, по-видимому, в подвалах. Но постовые, можно не сомневаться, сохраняли бдительность, и дежурная смена не отходила от бойниц.

- Я туда поднимусь, - Горшков глазами показал на скальный выступ. - А ты доложи обстановку и возвращайся.

Вот тогда-то и попал он на прицел снайперу. Счастье, что сержант вовремя оглянулся. Впоследствии они еще сколько-то раз выбирались на поверхность, и Горшков уже знал, что снайперы никогда не сторожат против солнца, а пулеметы, чтобы не раскритиковать себя, в одиночку не стреляют. Роли поменялись: Горшков, снабженный автоматом, прикрывал зоркого напарника. Наблюдали движение автоколонн и видели даже полоску пустынного моря. Они сблизились как товарищи, но имен в обращении не знали. Только: «пошли, сержант», «гляди в оба, политрук».

Звон... Звон... Серый известняк, тонкая пыль. Люди галлюцинировали водой, бесконечно разнообразной, недоступной

влажгой. Страшнее всех мук и безнадежнее самой смерти ощущение усыхающих клеток, вязнущей в жилах густеющей крови.

Фашистские пулеметчики меняли для себя игру. Иногда они подпускали жаждущих к колодцу, позволяли вытащить тяжелое ведро, позволяли даже припасть губами к краю - не больше. Следующую группу настигали на полпути: не к воде, так назад в укрытие. Безумие жажды было равно дезертирству. Посты перекрыли выходы напротив колодца, одно, что не стреляли в своих.

Сержант погиб днем, при полном солнечном свете. В санчасти умирали раненые, и командование решило дать правильный бой за колодец, не дожидаясь ночи. Они состояли в одной группе, политрук и отделенный командир. Батальону при переформировке отвели постоянный сектор обороны. В группе был единственный ручной пулемет «дегтярь», его взял сержант.

Короткими точными очередями отделенный подавил фланкирующий пулемет. Мгновенно перенацелился и заставил умолкнуть второй. На большее в ручнике не достало патронов.

- Гады, дайте же воды набрать! - Воспоминание было столь отчетливо, что Иван Антонович застонал.

Сержант стоял в рост, в руке порожнее ведро. «Дегтярь» от толчка свалился набок,

здрав сошник, как мертвую лапу. Есть признанная власть победы, одоления, несомненная даже для противника, ибо чувство справедливости коренится в человеке глубже ожесточения и вражды. Кто мог оспорить горделивое право победителя встать вот так прямо, приблизиться свободно к колодцу.

- Рус, иди, иди! Бери!

Две пули продырявили жестяное ведро, третья вырвала клоч кирзы из сапога.

- Эх, гады! - Сержант яростно швырнул ведро в сторону немцев.

Он упал, захлебнувшись кровью. Дальнейшее обрывалось. Иван Антонович не помнил, унесли тело, или оно осталось наверху, добычей зноя и трупных зеленых мух.

* * *

- ... Политрук!

Звал Бевз, болезненного вида человек с лицом обтянутым и потому выглядевшим моложе, с глазами, навечно сохранившими голодный лагерный блеск. Утром Иван Антонович едва успел перемолвиться с ним несколькими словами.

Его признали в том качестве, в каком он сам ощутил себя сейчас. Слово было естественно среди воронок, исторгнутых взрывами, неслышимое эхо которых продолжало биться о каменные глыбы.

- Ждут тебя!

- Иду, - тихонько, для себя сказал Иван Антонович. Он вышел к дороге, здесь и солнце светило мягче. Люди пропустили его вперед. Нюра отряхнула с мужниного пиджака известковую пыль. Нагнуться обрать приставшие бодяки она постеснялась.

Спуск показался не очень крут, оборонительная стенка давно разобрана. Шахтный двор загромоздили куски сорванной кровли. Невозможно представить, что здесь когда-то слышались мирные рабочие шумы, звенели пилы и возчики понукали лошадей. Мальчишки-восьмиклассники, прыгая по острым камням, обогнали взрослых и пропали в темноте. Потребовалось возвратить их, чтобы не остаться без провожатых. Воздух глубин был недвижим и плотен, казалось, скала хранит отстой давно погасших огней и выстуженного тепла.

- Зажмурьте глаза, пусть привыкнут.

Несколько мгновений Иван Антонович слушал тьму. Нюра сжимала его локоть. Она висла, прижимаясь к боку, и он чувствовал ее страх, ее сопротивление в каждом запинаящемся шаге.

- Ничего, ничего, мать.

Щупальца фонариков шарили по неровным стенам или вдруг бледным раструбом расплывались в открывшейся пустоте. Тени в причудливом множестве

обступали людей, втягивались, изламывались, отторгнутые светом. Несколько раз Иван Антонович задевал головой потолок. В его время каменные выработки были обширнее своей населенностью, полнившей их жизнью. То был целый город с улицами, тупиками, соседствующими или отдаленными, малоизвестными. Теперь подземелье призрачно оживало лишь вдоль узенькой тропки. Люди побудут и уйдут, и оно вновь сожмется в холодном оцепенении.

Эти выработки, переходы он узнавал и не узнавал. Вот явно было жильё: на скальной лежанке тырса переслоена сухими водорослями из госпитальных матрацев. В стене торчит гвоздь. Легче сломать, чем вытащить ржавое железо. На гвоздь вешали оружие. Прочее имущество помещалось в изголовье.

Слышались всхлипы, придавленные вздохи женщин.

- Сюда, сюда! - звали мальчишки, всякий раз возникая сбоку, словно кружа.

Цепочка, ведомая лучами фонариков, одолевала завалы, огибала громадные конусообразные осыпи, подземелье делалось все более дико, глухо. Иван Антонович уже не искал примет и не запоминал, хотя внутреннее чувство говорило, что идут верно и что один он шел бы так же.

Серый верхний свет заслепил неможное электрическое мерцание. Он тек вдоль

конуса со дна сквозной воронки. Мальчишки объявили, что сами спускаются сюда прямо сверху. На дне воронки есть свежая промоина, они ее расширили, принесли из дома лопату и лом. Инструмент пригодился, когда расчищали, заваленную штольню. Через воронку же солдаты, присланные военкоматом, забиралаи наверх останки погибших.

- Дальше кто пойдет? Не уместимся там все. - Мальчишки не очень охотно приглашали желающих.

Иван Антонович отнял от себя Нюрину руку. Он полез по шатким камням во вновь сгустившуюся темноту. Проводники шумно дышали где-то близко. Инстинктивно он сжался в узости раскопа.

- Завал от дождей сел. - Шепот предназначался сыну Трибрата, шедшему впереди.

Дрожащий луч обежал стены. Чиркнула спичка, и зажегся самодельный факел. Посредине квадратного помещения стояли стол и высокий табурет. Слева — железная койка, и там что-то чернело неразличимое: тряпки или сгнивший матрац.

Дымные языки лизали потолок. Запах склепа вытеснило смоляным чадом, как от горящего кабеля. Тени расталкивали пространство суетливым отраженным движением. Политрук Горшков бывал здесь не однажды, дышал копотью, видел пляшущие тени. Ему отдавались

приказание, в последнюю свою вылазку он тоже отправлялся отсюда.

- На кровати лежал Дорофеев, а лейтенант привалился к столу.

- В первый раз мы побоялись зайти, а потом взяли сумку с документами.

Трибрат стоял, пригнувшись под низкой кровлей. Пламя факела светило сбоку.

- Ротный! - глядя в лицо, позвал Иван Антонович. Дыхание забило хриплым колючим кашлем.

Прошное, с ним ли, без него, было живо и пребудет всегда.





ПОЧТИ КАК У ЛЮДЕЙ

Мы привыкли очеловечивать «братьев наших меньших». Переносим на них свои особенности, приписываем настроения и переживания. Иным в ущерб, как хитрой себе на уме лисичке, упрямому глупому ослу. Иным в похвалу и одобрение: смелому соколу, доброму коню. Некоторых идеализируем, например, лебедя с его неукоснительной верностью избраннику, избраннице. Но вот история почти человеческая.

Мы встаем очень рано и идем на пляж. Там встречаемся со знакомыми: людьми, любящими море не только летнее, но и зимнее, всякое. Есть немногие моржи – мы относимся к ним с почтительным удивлением. Большинство из нас здесь делает зарядку, хоть на ветру, хоть под навесом, если роняется дождик. Женщины от души общаются, ведут разговоры: тоже своего рода зарядочка на целый день.

Первый вестник зимы – залетные лебеди на пляже. В ноябре появилась пара. Вот кем не налюбишься! Как оба величаво проплывают мимо птичьей мелкоты, нырков, чирков. Как царственно клонят головы – кормятся. Хлебную корку, брошенную с берега, подбирают неторопливо, не то, что нахальные чайки. И

все время неразлучно вдвоем.

На третье или четвертое утро появилась новая пара. И тут мы почувствовали неблагополучие, какой-то разлад. Что-то потянуло нашего лебедя в чужую сторону третьим лишним. Начал он отдаляться от подруги. А она глянет искоса и ничего, не выказывает обиды.

Еще через день вторая пара решила поискать лучшее место.

Ну, воистину это событие – взлет лебедей. Размахи крыльев, плеск, разбег по воде. Лапы пружинят и поджимаются как шасси идущего в небо самолета. Наш лебедь тоже вдруг вспомнил, что умеет летать, поднялся и тяжело помахал вслед. А она осталась. И так нам грустно, тоскливо сделалось от его отступничества и ее одиночества. Пора бы по домам, а ждем, не уходим. Вернулся-таки непутевый. Не прилетел – тихо приплыл и остановился в отдалении. Она, конечно, заметила, но не подала виду, сохранила сдержанность. Мы могли только догадываться, что творится в душе у нее, у него. Внешне же как будто ничего и не происходило. Как в чеховской пьесе: люди пьют чай, обмениваются незначущими репликами, а в это время решается их судьба...

Наконец она как будто сделала первый шаг, и он ожил, прибавил ходу на сближение.

Я сказал «почти как у людей». Не

совсем так. Без скандалов, выяснения
отношений – тихо, благородно
воссоединилась пара.





ДАЛЕКИЙ ОТЗВУК ЭЛЬТИГЕНА

Давно, еще при едином Союзе, я собирал в ЦАМО – Подольском архиве материалы для книги об Эльтигенском десанте. И помню, как притянул внимание список потерь офицеров 1331 полка. В ночь высадки 1 ноября 1943 года они шли на сторожевом катере № 01012 от пристани Соленого озера – места самой дальней погрузки. Не успели войти в пролив, как на траверзе мыса Панагия катер взорвался и затонул. Считается – наткнулся на плавучую мину. Впрочем, есть и другая версия. О ней мне рассказал Георгий Афанасьевич Литвин, автор нескольких книг, воевавший воздушным стрелком на штурмовике Ил-2 и сбивший над Керченским проливом два вражеских истребителя. Он служил после войны в группе наших войск в Германии, имел доступ в немецкие архивы. И там читал рапорт фашистского диверсанта, который якобы заложил взрывчатку в наш сторожевик.

В списке 23 фамилии, против трех представлено «ранен». Значит, их спасли, а двадцать погибли. Я переписал всех: звания и

должности. А запомнил только командира Ширяева Андрея Дмитриевича и единственную женщину полкового врача Чернявскую Наталью Наумовну. В дивизии приняли меры, чтобы сохранить боеспособность обезглавленного полка, и он свою задачу в десанте выполнил. Особой доблестью отличился батальон майора Клинковского, ставшего на «Огненной земле» Героем Советского Союза и смертельно раненного в декабре при фашистском штурме плацдарма.

... Минуло много лет. Книгу я написал, ее издали. И вот прошлым летом звонит мне заместитель директора заповедника Владимир Симонов. К ним обращается женщина-москвичка с просьбой сообщить обстоятельства гибели ее родственника-эльтигенца. Может быть, у меня есть сведения о нем. Он назвал фамилию. Вроде такая мне встречалась, но сразу ведь не скажешь. Владимир Владимирович дал просительнице мой телефон, и спешно я принялся за мои записи, дойдя до списка погибших на катере, я испытал чувство редкостного точного попадания. Да, в числе жертв числился лейтенант Мирмович Моисей Яковлевич, помощник начальника штаба полка.

Теперь уж я сам нетерпеливо ждал звонка москвички, и вскоре разговор состоялся. Женщина вела поиски от имени своего отца, брата погибшего. Они обращались в Подольский архив, и оттуда была справка: офицер Мирмович утонул в ночь высадки. Говори-

лось о множестве мертвых тел, вынесенных волнами к плацдарму. Татьяна Иосифовна спрашивала про братские могилы и памятники в Эльтигене. Пришлось сказать, что ее дядя никак не мог быть похоронен там, что мыс Панагия по другую сторону широкого пролива. Тем не менее, лейтенант Мирмович был прямо причастен к знаменитому десанту, явившись одной из первых наших жертв в нем.

Телефонный разговор я дополнил подробным письмом. В ответ пришла бандероль с фотографиями, копиями документов, газетными вырезками. Так завязалось знакомство с интереснейшими людьми, ставшими мне близкими, почти родными.

Семья потомственного ремесленника-воскобойника Якова Мирмовича жила в местечке Шумячи Смоленской области. Старший сын Мося накануне войны закончил школу и стал курсантом пехотного военного училища. Младшего Иосю грозные события застали в Ленинграде. Была еще дочка Вика, на семейной фотографии, где дети еще маленькие, она сидит на руках у отца.

Что делать Иосифу, только что сдавшему экзамены за первый курс техникума? Собирался ехать на каникулы домой – к счастью, его отговорили. Шестнадцати лет он пошел добровольно в армию, на фронте стал артиллерийским разведчиком. Это значило быть постоянно на передовой, искать цели для своей батареи. Ленинградский фронт под Лу-

гой, тяжелое ранение в обе ноги и голову. Его успели вывезти до блокады. После госпиталя – Воронежский фронт, опять ранение. В сумятице отступления, беспомощный, он едва не попал в руки врага. После излечения – артиллерийское училище. День Победы капитан Иосиф Мирмович встретил близ города Станислава, нынешнего Ивано-Франковска. Там ему еще довелось воевать с бандеровцами.

Братья Мирмовичи в войну переписывались. Старший побывал и взводным, и ротным. В последнем письме менее чем за три недели до своей гибели Моисей сообщает, что был в жестоких боях (Новороссийск), при десанте (видимо, в Анапе) взрывом мины «маленько оглушило», что недавно получил повышение в должности. «Тебе известно, родина наша уже освобождена. На имя председателя сельсовета я послал письмо с запросом». Лейтенант Мирмович не узнал о страшной судьбе родных.

Отца и мать, как и всех евреев местечка, фашисты расстреляли. Теперь на месте засыпанного рва стоит памятник. Сестренка где-то пряталась два месяца. Но в дьявольской бухгалтерии убийц не сходились цифры. Вики искали, по чьему-то доносу пришли полицейские, увели, наверное, в тот же ров... В великих трагедиях древности и нового времени есть ли что-либо близкое, сравнимое с ужасом затравленной девочки Вики?!

Были праведники, спасавшие, рисковавшие жизнью своей и семьи. И были, ведь были нелюди-доносчики, и оккупанты не ощущали недостатка в подонках-полицаях... Спроси свою душу, человек, скажи: возможно ли понять, объяснить такое?

Спустя десятки лет выросли новые поколения, сменился общественный строй, карту страны перекроили новоявленные границы. Казалось бы, ничего не сохранилось от прежней жизни. Но корысть и лукавая политика не имеют глубоких корней. Ничто не способно поколебать вечные понятия чести, добра, справедливости – нравственный фундамент бытия, основы существования народов и совесть людей. Послевоенная история Мирмовичей – одно из бесчисленных тому подтверждений.

... По разнарядке, поступившей в часть, Иосифа Мирмовича направили учиться в военный институт иностранных языков. 2 мая 1951 года судьба свела его с Зиной. У них оказались соседние кресла в зале Московского камерного театра. После спектакля офицер галантно проводил девушку до дома. А в конце года Зинаида Ивановна Иванова стала по фамилии мужа Мирмович. Они живут вместе уже 54 года, у них дочь и сын, есть внуки.

Первоначально молодая семья жила в бараке. Наконец получили однокомнатную квартиру. Окончив институт, после демобилизации Иосиф Яковлевич был принят на

работу в Управление воентехиздата Министерства обороны. А когда спустя 30 лет его провожали на пенсию, начальник управления генерал-лейтенант Постников сказал: «Это самый честный, самый работающий, самый мудрый и самый трезвый человек у нас».

Что кается Зинаиды Ивановны, выпускницы Московского политехнического техникума, то вся ее трудовая деятельность прошла в общесоюзном доме моделей «Кузнецкий мост». Она имела специальность модельера-конструктора, но понадобилось работать технологом преимущественно в цехе детской одежды. При ней к ним пришел еще никому не известный ставший знаменитым модельером Вячеслав Зайцев. О Славе Зинаида Ивановна может рассказывать без конца, какой это щедрый талант. Про себя же говорит немногословно: «Нужно было много работать. Без эмоций».

Ее, неутомимую труженицу, прекрасного человека, представила своим читателям общенациональная газета «Россия» в номере за 20-26 октября прошлого года. На целой странице с двумя фотографиями: какой была в молодости и какая сейчас. Добавлю, что эта же газета посвятила страницу Иосифу Мирмовичу в специальном выпуске к 60-летию Победы. И тоже с двумя фотографиями. Вот такие это люди, такая пара. Признаюсь, я кое-что позаимствовал для своей статьи у российских журналисток Инны Коваленко и Инны Тараторкиной.

Могут сказать: слишком далеко отошел автор от заявленной эльтигенской темы. Отвечу: не более того, как отдалилась от нас война. Жизнь погибших солдат продолжена в судьбах родных и близких, в судьбах страны и народа. Все мы наследники и правопреемники их. Есть большая ответственность перед ними: мы не должны позволить вкривь и вкось переиначивать историю великого и трагического прошедшего века. Есть и вина наша перед павшими: мы не сохранили единства страны. Уверен: отдавшие жизнь за Родину с негодованием отвергли бы нынешние политические шашни, национальные распри, счета и претензии. Они не одобрили бы разрушение СССР. Мало того, я думаю, они не допустили бы раскола...

Но пусть не покидает нас чувство исторического оптимизма. Пусть будут живы надежда и вера. Придет время собирать раскиданные камни. Не нам, так идущим за нами.





ОФИЦЕР ФЛОТА

Днепровская военная флотилия, более ста кораблей, участвовала во взятии Берлина и была отмечена в приказе Верховного Главнокомандующего. Не правда ли, звучит не в ладу с географией? «Братишки, как вы сюда попали?» – спрашивали армейские товарищи. Речники прибыли своим ходом, внутренними водными путями. Это целая эпопея, всего не перескажешь. Из бассейна Днепра в Западный Буг были доставлены, правда, на железнодорожных платформах. Но дальше была Висла, соединяющаяся каналом с рекой Нетце, а это уже приток Варты, впадающей в свою очередь в Одер. Где волоком перетаскивали суда по мелководью, где, наоборот, нагружали до предела балласт, чтобы пройти под низкими мостами. Разбирали завали, восстанавливали шлюзы и не просто «флаг показали» – поспели к самому началу сражения.

Весь труднейший путь вместе с другими кораблями проделал бронекатер, которым командовал лейтенант Борис Камский, киевлянин, еврей. Башенная пушка катера вплела свой голос в грандиозную артподготовку 16 апреля. По существу бронекатер – это судно-танк, только гораздо менее защищенный, чем его сухопутный собрат. На реках и каналах Германии, впритирку к бере-

гам, бронекатерам было так же трудно, как танкам на улицах Берлина.

Корабль Камского от Кюстрина направили в 3-ю бригаду вверх по Одеру. Путь был очень опасен: река здесь узка и на протяжении 23 километров она представляла собой нейтральную линию между позициями противников. По правому борту берег занимали немцы и власовцы, любой фаустник мог нанести кораблю гибельный удар. В полосе нашей 33-й армии за передним краем врага находился хорошо укрепленный город Фюрстенберг и близ него входной шлюз канала Одер – Шпрее. Бригада речников своими силами штурмовала и взяла город. Бронекатер Камского вместе с другими кораблями прорвался в канал и двинулся в направлении Берлина. Речники оказали существенную поддержку наступающим войскам. По Шпрее, через ее многочисленные шлюзы, корабли достигли предместья Берлина, их задержал только рухнувший широкий мост на городской кольцевой дороге.

Весна, молодость, Победа! Все счастливо слилось в светлом Мае. Горделиво приподнятое радостное настроение владело военной молодежью. Лейтенанту Камскому 22 года, ничто, свойственное возрасту, ему не чуждо. Но он флотский офицер, мало того, командир корабля. Эмоции шлифуются собранностью, профессиональным культом долга, чести. В характере заметнее прояв-

ляются четкость, определенность поступков и слов, внешне смахивающие даже на суровость. Без этих качеств нет настоящего авторитетного командира.

* * *

Служба шла своим чередом, прибавлялись звездочки на погонах, расширялся круг обязанностей, усложнялись задачи. В 1951 году Днепровская флотилия была расформирована – 18-й отряд тральщиков, которым командовал капитан-лейтенант Камский, вошел в состав Черноморского флота с базированием в Одессе.

Для тех, кто тралит и обезвреживает мины, война продолжалась еще многие годы после Победы. Контактные и неконтактные, донные и якорные мины из почти 100 тысяч, поставленных воюющими сторонами, засоряли наши воды, особенно в Черном и Балтийском морях. С мощными зарядами, чуткими взрывателями, невидимые и неслышимые, они таили смертельную опасность для кораблей, военных и гражданских, делали невозможным нормальное мирное судоходство.

Боевое траление велось от весны до глубокой осени, каждодневно от темна до темна. 18-й отряд протралил одесскую бухту, Днепробугский лиман между Херсоном и Очаковом, район Кинбурнской косы, Тендровский залив. Командир отряда поставил корабли на зиму в ремонт и по ре-

шению сверху отбыл в Ленинград в высшие специальные офицерские классы. Практик траления получит там основательную теоретическую подготовку, изучит новую технику и опыт, накопленный на других морях, в других условиях. Успешно окончив учебный курс, Борис Львович отправляется в Керчь, чтобы принять строящийся там новейший по тому времени морской тральщик.

Он повел корабль на Балтику, в Финский залив. И снова боевое траление месяца за месяцем – бесконечные шторма, дожди, туманы. Мин, в основном немецких, оказалось очень много. Люди изматывались физически и еще больше гнетом постоянной непредугадываемой опасности. Личный состав был поделен на две смены – командир всегда находился на мостике вне смен и вахт.

* * *

Он вернется на юг, но прежде его ждал поход, исключительный даже в масштабах и понятиях издавшего всякое закаленного моряка. В середине 50-х годов для усиления Тихоокеанского флота формируется большой отряд кораблей, в их число был включен также тральщик под командованием Камского. Каравану предписывалось за одну летнюю навигацию пройти Северным морским путем из Мурманска в Петропавловск-Камчатский – совершить то, что

впервые удалось легендарному «Сибирякову» и не удалось не менее знаменитому «Челюскину». Нужно ли говорить, с каким чувством принял почетное задание человек, с детства, как и другие мальчишки его времени, впитавший дух и предания великих полярных одиссей.

Военные корабли не были приспособлены к плаванию в многометровых арктических льдах. Караван распался на отдельные группы, порой приходилось идти даже в одиночку. Корабль Камского семь раз пытался пройти проливом Вилькицкого и одолел его только с помощью ледокола. А ледоколы сами были старые, маломощные – тогда не знали нынешних атомных гигантов. Туман сопровождал моряков на всем переходе, особенно он сгущался во льдах. Временами командир с мостика не видел носа своего судна. Единственным навигационным обеспечением служили радиомаяки.

Не хватало топлива, механизмы не выдерживали нагрузки – их ремонтировали на ходу. Не хватало питьевой воды, смена часовых поясов плохо сказывалась на самочувствии людей. Но неуклонно возрастал счет пройденных миль. Баренцево море, тяжелые льды Карского моря, мыс Челюскин – северная оконечность материка Евразии, море Лаптевых – бухта Тикси, Восточно-Сибирское море, Чукотское, Берингов пролив между Старым и Новым светом. Затем несколько тысяч миль штормовыми

морями Тихого океана: кораблю требовался ремонт, и командир привел его из Петропавловска-Камчатского во Владивосток.

* * *

Из Арктики и Дальнего Востока – в Крым. Вместо льдов – снова мины. Б. Л. Камский назначен командиром группы траления в Феодосийском заливе. Теперь на вооружении у пахарей моря электромагнитные и акустические тралы. Кроме феодосийского района протралены Керченский пролив, подходный канал к порту Мариуполь, переправа Крым – Кавказ. А ведь по условиям неконтактного траления каждую полосу нужно было пройти по 18 – 24 раза.

В начале 80-х годов капитан третьего ранга Камский уже в должности командира Керченского дивизиона тральщиков снова в море, снова в противоминных боевых походах. Протралены прибрежные воды Крыма от Алушты до мыса Опук близ Керченского пролива, в который раз сам пролив, затем Казантипский залив, подходы к Мариуполю и Приморско-Ахтарску... Тяжелая скрупулезная работа, требующая высокого профессионализма и смелости, терпения, честности. Да, честность порокой надежности: «Здесь мин нет.

Когда Борису Львовичу перевалило за сорок, он становится начальником штаба, затем командиром крупного соединения. В Керчи он координирует боевую подготовку

личного состава кораблей, строящихся на заводе «Залив». Трудно перечислить все командирские обязанности. Но связи с заводом определили работу капитана второго ранга, когда он по возрасту уволился в запас. По существу, это продолжение прежней службы. Много лет Камский представляет Министерство обороны на «Заливе»: вместе с товарищами по военной приемке контролирует ход строительства судов, монтаж боевой техники, участвует в испытаниях... Сорок шесть лет отдал этот человек родному флоту, его пополнению, совершенствованию, обеспечению безопасности на море. Он и теперь моряк: всеми привычками, интересами, кругом друзей.

Я листаю грамоты – служебные поощрения, вехи деятельности, личные годовщины. Среди обязательных фраз вдруг появляется что-то неуставное, индивидуальное: «труд воспитания», «душевная справедливость» или теплое товарищеское «мне повезло, что в трудное время Вы рядом со мной». Какими нравственными духовными богатствами, не говоря о чисто профессиональных достоинствах, выделяется поколение Бориса Львовича Камского! Какие высокие чувства будоражили сердца этих людей, прежде чем отложиться в памяти и стать историей! Пусть долго живут они.



ДОЧЬ КАТЯ

Речь, собственно, не о дочери, а о двух старых людях, о святости их души. Речь о страшном времени войны, о молодых годах и нынешнем житье-бытье Любови Васильевны и Александра Яковлевича. Они наши земляки. И если верно, что история жива не гениями, рождающимися раз в столетие, а трудом и совестью простых, ничем не знаменитых людей, то к чести и гордости Керчи мы вправе причислить чету Ленивцевых.

Поженились они совсем юные, и вот неразлучны уже 65 лет. Она до войны работала в магазине плавсостава, он электриком на холодильнике и бочарном заводе. В сорок четвертом пришел на железнодорожную электростанцию. «Вошел в ворота, и через сорок два года из них вышел».

Домик, наследованный от родителей, улица 23 Мая с партизанским сквером. Сколько бурь пронеслось над ней. Александр Яковлевич имел бронь, и вообще был белобилетник-легочник. И коль не поддался болезни, сохранил на многие десятилетия трудоспособность и дожил до преклонного возраста, то это его умеренность, уравновешенность, сила духа. Это в еще большей степени ее заботливость, мягкосердечие, уютное тепло. «Он же не пил, не курил, а

главное... – Любовь Васильевна лукаво улыбается, – с женой ему повезло».

Война сама пришла к ним в дом. Любовь Васильевна попала под близкий разрыв фугасной бомбы. Уже собирались отнять ногу, но операцию прервала новая сокрушительная бомбежка. Кто-то положил раненую под операционный стол, это спасло ее, когда рухнул потолок, Любовь Васильевна почти в беспамятстве выкатилась из-под обломков. Муж нашел ее на улице. Сосед-врач приходил на дом, он и поставил ее на ноги. А сам отравился вместе с женой и сестрой. Евреи – они не желали лютой смерти от рук фашистов.

На этой же улице 23 Мая жил в своем доме Абрам Пейсах. Кормил семью заработками на рыбе. Рано утром младшая дочь Катя (ей было шестнадцать – семнадцатый) услышала в хлебной очереди страшную весть. Она ринулась вверх по Греческой к своим.

«... Моих родных, то есть папу, маму, сестру Тамару с двумя детьми (Светочке было три года, Витеньке – полтора) полицаи погнали во двор Пенерджи. Крики, рыдания... Я не знала, что делать. Соседи держали меня... Из домов были забраны все крымчаки. Их увезли в тюрьму. Там держали трое суток. Кушать и пить не давали. Детям мазали губки отравленной кашей... С мертвыми детьми на руках в ночь на 26 июня 1942 года людей вывезли на расстрел

в Аджимушкайский противотанковый ров... Мне все рассказал в 1955 году Петр К., он был полицей и отсидел 10 лет».

Соседи Ленивцевы, удержавшие Катю, забрали ее к себе. Началась охота. Полицаяев подстегивала корысть: за пойманную смертницу положена награда. Они ходили по дворам. Дважды задерживались у Ленивцевых. Может, кто-то донес? Катя пережидала тревогу в стойле соседской коровы, присыпанная травой в яслях. Знакомый полицей с их улицы заводил хитрые разговоры: «Я вам плохого не желаю. Мы по-настоящему еще не искали, лучше сами скажите». Он имел виды на опустевший дом и имущество Пейсахов.

В третий раз гости недвусмысленно явились в сопровождении немца-автоматчика. «Вас предупреждали. Скажете – ничего не будет. А если найдем – всех к стенке! Дочку бы пожалели» – полицей повел винтовкой на их четырехлетнюю Валю. А вдруг спросят маленькую: «Скажи, где тетя чужая?» Осмотрели все закутки, двое полезли на чердак. На чердаке пряталась Катя.

Солнце застыло в небе, давит неподвижная тишина. Автоматчик напротив ждет, будто смерть явленная. Но вот спустились вниз полицей, убирают приставшую паутину. Не нашли, нету здесь. Ушли, переругиваясь. Что же было? На чердаке,

где прохудилась крыша, стояла бочка. Катя скорчилась в ней – те не глянули.

Дальше не могло так оставаться. Добрая знакомая с глухой улицы за Митридатом посоветовала. Есть на отшибе сарай. Спрячьте девушку, навесьте замок. Сарай ничей, никто не придет. Так и сделали. Ночами Александр Яковлевич но-сил затворнице еду и воду. Вернется – жена не спит. «Ну, как она?» – «Жить не хочет, просит Бога, чтобы бомба на нее упала – освободить нас от беды».

Все равно – ненадежное убежище давало только отсрочку. Требовалось решиться на отчаянный необычный шаг: других шансов на спасение Кати не оставалось. План был продуман и осуществлен исключительно Любовью Васильевной.

Окупанты объявили набор рабочих в Германию, сулили всякие блага, но скоро назначили насильственную запись. Любовь Васильевна сама пришла, назвалась украинкой Петренко Катериной без паспорта и других «сгоревших» документов. Да, захотелось посмотреть культурную Европу. Да, понравились на плакатах радушные хозяева и жареный поросенок на столе. В день отправки привела Катю на перрон. Под самый звонок в сумятице девушка замешалась в толпу плачущих, подгоняемых толчками рабынь...

Приехала она через три года: возвратилась к названным родителям. Каторжный

труд, голод и побои в рабочем лагере для нее усугублялись постоянной угрозой разоблачения, что повлекло бы неминуемую казнь. В Керчи Ленивцевы помогли устроиться на работу, вернуть права на родительский дом. Она обменяла его и уехала в Пермскую область, откуда родом муж. У Любови Васильевны и Александра Яковлевича родилась вторая дочка. Валя, Зина и Катя меж собой сестры. У стариков уже одиннадцать правнуков. Екатерина отыскала старшую сестру Еву, переехавшую после эвакуации в Феодосию. Обе не забывают Керчь. да и как забыть! В конце восьмидесятых годов они писали в газету, Ева обивала пороги кабинетов, чтобы достроили памятник на Аджимушкайском перевале. Здесь пролилась мученическая кровь.

Как живут старые? Две пенсии: 73 + 37. нужно платить за то и за это. Нужен газ, зимой не обойтись без угля и дров. Глаза не видят – лечение требует денег. Дочери помогают, чем могут – всем теперь трудно. Чету Ленивцевых взяла под свою опеку еврейская община «Гешер». Им привозят обеды, выделяют продукты и лекарства, прикрепили патронажную сестру.

Почти одновременно пришли два письма. Ева Пейсах благодарит председателя правления общины Б. Я. Капустина за внимание, оказываемое Любови Васильевне и Александру Яковлевичу: «Они для нас родители». Из Иерусалима прислано офици-

альное извещение, что в комиссию, возглавляемую Верховным судьей государства Израиль, направлено ходатайство о присвоении жене и мужу Ленивцевым почетного звания «Праведники Мира». Оно уже присвоено Аджи-Кадыру и Айше Куртиевым («КР» 29 июня с.г.).

В доме стариков не видно внешних признаков религиозности – Бог у них в душе.





ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД ЕДИН

Джафер помнит то позднее ноябрьское утро. В дверь постучалась женщина с двумя девочками. Они евреи, в Керчи объявлена регистрация, и люди ждут ужасного. Женщина молила приютить их. На вошедших невозможно было смотреть без жалости. Чтобы добраться до Айман-Кую, им понадобилось покинуть город глубокой ночью. Девочки опустились на пол возле порога, меньшая сразу закрыла глаза.

Джафер, старший из шести детей, был основной помощник матери. Отец за неделю до прихода гитлеровцев пришел домой инвалидом. Красноармейцу Куртиеву, раненому при бомбежке, в севастопольском госпитале сказали: «Мы можем тебя лечить, но ты уже не солдат — езжай к жене и детям». Отец работал в колхозе чабаном, летом он должен был ехать в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку...

Айше ждала слова мужа, и Аджи-Кадыр сказал: «Покажи им наш дом».

Ципу Бакиши (муж ее был крымчак) с Фаей и Аллой сажали с собой за общий стол, девочки спали с хозяйскими дочками. Но не скудная еда и не место под крышей главное. Повсюду появились объявления: любая семья, где прячут евреев, будет приравнена к ним. Скоро стало ясно, что это значит. Их деревня

не очень далеко от Багерова. О происходящем там говорили боязливым шепотом. В начале декабря тысячи евреев, все, кто остался в городе, от глубоких стариков до младенцев, наполнили своими телами, залили кровью километровый противотанковый ров...

Над всеми обитателями дома нависла смертельная угроза. Ципа иногда что-то говорила Аджи-Кадыру, и он твердил: «Никто не знает, никто не скажет». Ее называли дочерью брата из Симферополя: дом разрушен, документы сгорели. В деревне жили татары, русские, украинцы, болгары, одна семья была греческая. И все делали вид, что не видят, не понимают. Староста Трофимов молча кивал головой, будто тоже поверил в симферопольскую племянницу.

Тянулся декабрь, в Керчи продолжались кровавые расправы. Зима в сорок первом году началась ранняя и мороз-ная. Однажды в метель ко двору Куртиевых прибилась немецкая автомашина, офицер-связист с шофером. Потребовали очистить отдельную комнату. Офицер жил здесь целую неделю, имел, видимо, задание с ежедневными сеансами радиосвязи. Тайна дома оказалась, словно высвеченна изнутри. Взрослые двигались, как тени, дети забыли свои игры. На третий день Ципа не выдержала. Она вдруг заговорила с офицером, назвалась учительницей немецкого языка. А он посмотрел пристально: «Ты юде». Обернулся к куче ребятни и безошибочно вы-

делил Фаю и Аллу: «Они юде». Потом, не прибавив ни единого слова, ушел к себе.

Вечером он включил рацию, и обе семьи ждали наутро полицейских. Прошел день, еще один – никто не появлялся. Наконец немцы уехали. Но, как знать, может, офицер не захотел мараться с арестом и в Керчи, с глаз подальше, сделает донос? Ципа исчезла. Наверное, она понимала, что своим присутствием губит всех. А без нее национальность дочек ничем не обозначена.

В последние дни года со стороны Камыш-Буруна и Керчи слышались звуки боя. Гитлеровцы бежали. Первого января в сторону Феодосии потянулись колонны и обозы. В памяти Джафера запечатлелось: в комнате на матрасе играли младшие девочки. Фая прибежала с улицы и плача обняла сестренку... Обе жили у своих спасителей, пока не возвратилась мама.

После войны Ц. Бакши переехала в Севастополь. Письма ее неизменно заканчивались словами: «Спасибо вам, мы живы благодаря вам». У Куртиевых есть фотография: на ней Фаина Фуксман с мужем, с дочерью и внучкой. Есть фотопортрет с дарственной надписью Аллы.

В сорок втором снова пришли фашисты. Над семьей еще два года висела угроза: вдруг всплывет «преступление». Подросткого Джафера угнали на гитлеровскую каторгу. 15 месяцев он пробыл в Австрии: изнурительный труд на заводе, лагерный барак, 250 граммов

хлеба на день и баланда из брюквы. Невольников освободили войска 2-го Украинского фронта. Джафер Аджикадыров (заметьте фамилию) стал солдатом 206 стрелковой дивизии. Восхитителен был переход от рабской униженности к гордому чувству воина великой армии, освободительницы народов.

Недолго однако оставался он в своей части. Вызвали в Особый отдел и сразу: «Сдать оружие!» В Узбекистане нашел отца и мать, всю семью, стал, как они, бесправным спецпереселенцем. Он считал, что ему еще повезло: не пришлось видеть разорения родного гнезда, пережить страдания депортации.

Настоящий человек, как и целый народ, сохранит достоинство при любых испытаниях, не озлобится и не падет духом, не утратит надежды. Джафер – сын своего трудолюбивого стойкого народа. Он работал и учился, стал буровым мастером, начальником буровой партии. Под стать ему жена Диляра – квалифицированный экономист. Она уроженка Керчи. Ее отец Асан Юнусов, член подпольной патриотической группы, был замучен фашистами в совхозе «Красный» под Симферополем.

Аджи-Кадыр Куртиев так и не оправился от ран и умер в 1952 году, мама Айше пережила его на 38 лет. Оба покоятся в далекой земле. Джафер и Диляра, уже пенсионеры, вернулись, как только стало возможно, на родину.

Джаферу Куртиеву 72 года, он был в фашистской неволе, потом до конца войны нахо-

дился в действующей армии. В нынешнее трудное время он вправе пользоваться важными положенными ему льготами. В молодости носил фамилию, как было принято, по имени отца. В документах военного времени значится Аджикадыров. В Узбекистане по воле коменданта он и все его братья и сестры стали Куртиевыми.

Как доказать, что под разными фамилиями один и тот же человек? Нужно хлопотать, ходить по кабинетам, объясняться с разными наделенными властью людьми, встречая подчас недоверие, открытую недоброжелательность, ледяное равнодушие.

Не могу закончить на грустной ноте. Как ни трудно бывает на житейских дорогах, душу нам живит и греет сознание непреборимости, вечности добра. Справедливость, праведность – достояние не одних редких одиночек, они общечеловечны. По существу, у всех народов на земле единые понятия о честной нравственной жизни и равно осуждаются ложь, зло, жестокость. Потому что все мы от общего корня – национальные, исповедальные и прочие различия не столь важны, не в них суть.



ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ



ИЗДАТЕЛЯМ ИЗБРАННЫХ СТРАНИЦ «РУССКОГО АРХИВА»*

Господа издатели!

Я прочитал первый выпуск Избранных страниц «Русского архива» более года назад и решил забыть книгу. Но вот в годовщину кровавой трагедии Багеровского рва под Керчью побывал на месте расстрела семи тысяч человек и не могу отмолчаться. Вы извлекли на свет трактат Н. С. Граве «К истории еврейства», сочинение крайне тенденциозное, сто лет пребывавшее в забвении вполне заслуженно. К «Русскому архиву», по признанию П. И. Бартенева, оно имеет лишь косвенное отношение и ныне способно превратно характеризовать почтенный журнал и его издателей.

Ну, какой объективности ждать от царского чиновника с немецкой фамилией, служившего на окраине империи в Польше? Его целью было обосновать ограничительные меры против евреев в царствование

* Публикуется впервые

Александра III. Граве 12 лет соприкасался с жизнью еврейских общин Калишской губернии. Казалось бы, он должен «завалить» читателей фактами из своей практики, ссылками на дела, рассмотренные его ведомством. Однако на почти двухстах страницах трактата не обнаруживается ни одного живого личного впечатления, ни единого примера из обыденности большой губернии со значительным еврейским населением. Не заметить эту странность невозможно, и объяснение она находит лишь в том, что реальная жизнь, видимо, не давала веских доводов в пользу авторской и официальной концепции. Конечно же, высокомерный чиновник не видит, не хочет видеть бесправия и скученности тысяч людей в городах и местечках черты оседлости (в сельской местности им жить категорически запрещено), стесненность и ограничения в передвижениях и занятиях, в возможности получить образование, сколько-нибудь сносно устроить свою жизнь. В 80-х годах по империи прокатилась волна диких погромов, и этого не замечает автор. И, коль скоро нечего сказать от себя, он становится на торный путь компиляции, благо источников того рода, что на Западе в то время питали позорную дрейфусиаду, а у нас позднее не менее подлое, инспирированное «дело Бейлиса», всегда было хоть отбавляй. Вот истинная цена писаниям Граве!

Вы коснулись действительно жгучего и темного вопроса, как сказано в аннотации. Но не для просветления его и не для врачевания давней боли. Напротив, вы подливаете масла в отнюдь не загашенный огонь. Да будет это на вашей совести, господа!

Я посылаю вырезку из керченской городской газеты. Не покривите душой, отрицая связь между «изысканиями», публикациями определенного толка и погромами, а затем и геноцидом евреев. Слово есть дело. Зверский кишиневский погром 1903 года был прямо спровоцирован статьями П. Крушевана в газете «Бессарабец». Гитлер обосновывал «окончательное решение еврейского вопроса» «Протоколами сионских мудрецов».

Что говорить? Вы пренебрегаете конституционным запретом на выступления в ущерб национальной чести и достоинства любого народа. И вам, конечно, нет дела до конкретных людей, ваших сограждан в условиях моральной травли. Стыдно, господа, недостойно имени интеллигента!

6 декабря 1996 года.





**ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
НЕМЕЦКОГО ЖУРНАЛА «ДОЙЧЛАНД»***

Весной 1945 года мне, рядовому разведчику 150-й стрелковой дивизии доводилось иметь дело с пленными. Может быть, кто-то из них еще жив? Мне хотелось бы узнать об этих людях. Никаких имен или фамилий я не знал и не знаю. Расскажу только некоторые подробности.

1. 1 марта в Померании, около города Реетц (я знаю только старые немецкие названия) на командный пункт дивизии привели очень молодого пленного. Он был без шинели и пилотки, на спине виднелась кровь. Мне приказали отвести его в штаб. Шло наступление, части перемешались, штаб удалось отыскать только вечером. Я не был при допросе, но видел, что для пленного пронесли котелок с едой, прошла медсестра с санитарной сумкой. Потом оказалось, что ему предложили вернуться в свою часть и раздать наши листовки. Я должен был стеречь немца до утра. В сарае он лег на солому – было холодно, мне стало его жалко. Я видел во дворе оставленную при отступлении

* Публикуется впервые

немецкую шинель – принес ее и набросил на спящего. Он поднял голову и сказал «Данке».

Мы догоняли фронт еще почти целый день, по дороге были уже почти как товарищи. Я задвинул автомат за спину, шел впереди. Наконец мы увидели, что солдаты окапываются возле леса. Дальше наших войск не было. Я привел немца на опушку и показал: «Иди». Он помахал прощально рукой. Больше, понятно, я его не встречал. Как он поступил, остался ли жив? Не знаю. Я мог только пожелать ему удачи.

2. На исходе наступления в Померании, где-то 10 – 15 марта, мы достигли города Каммин. Мы очень устали, спали, не чувствуя ни холода, ни голода. Помню, меня разбудили и велели идти к командиру. Приказ был взять еще двух разведчиков и отконвоировать группу пленных в лагерь, в город Наугард. Это примерно в 50-и километрах. Пленных оказалось 108 человек, среди них несколько раненых, один особенно тяжелый. Идти они не могли, ждали для себя самого худшего. Что было делать? Я попросил своего товарища Ивана Анадского поискать в придорожной деревне какую-нибудь повозку. Иван, очень добродушный полтавчанин, скоро прикатил четырехколесную тележку. Под одобрительный говор повеселевших немцев мы бросили в кузов матрац и несколько подушек. Шестеро пленных усадили раненых, подхватили со всех сторон тележку – в путь.

Еды у нас у самих не было – мы оторвались от своих тылов. Во встречных деревнях, брошенных жителями, мы отыскивали черствый хлеб, что-нибудь еще съестное. Ели сами, раздавали пленным по колонне. Когда проходили мимо помпы, я командовал остановку. Пленные пили воду, некоторые умывались. В городе Гюльцов мы заняли пустой дом. Нашли картофель, наварили на всех. Немцы спали в просторном подвале, а мы по очереди несли караул.

На следующий день пришли в Наугард. Лагерь не успевал принять всех, мы ждали у ворот. Ко мне подошел один пленный, остальные смотрели на нас. Вначале я не понял, о чем меня спрашивают. Ах, «национ, национ!» Я ответил: «Их бин айн юде». Немец не выразил удивления, по-видимому, они меня уже «вычислили». Они что-то горячо говорили меж собой. А я делал вид, что ничего особенного не произошло.

Открыли ворота, пленных увели, мне вынесли расписку. А мне этот случай запомнился, он мне греет душу. Я доволен, что все 108 человек, порученных мне, прошли эту малую часть предстоящих им тяжелых испытаний без ущерба для своей жизни и своего достоинства. Думается, и они, кто жив, помнят наш поход, помнят и меня, их конвоира.

Ваш Наум Славин, инвалид войны, бывший учитель истории, писатель.

6 декабря 2003 года.

О БЛИЗКИХ



ПРО ОТЦА

Старожилы г. Саки и сельской округи до Николаевки могут помнить моего отца Абрама Наумовича Славина. Родом он из земледельческой еврейской колонии Ефингарь под Николаевом. В молодости не пришлось учиться, а в сорок лет, обремененный семьей, тремя детьми, он закончил Чеботарский сельхозтехникум. Негодующим против интеллигентского «еврейского засилья» я советую последовать примеру моего отца.

Война застала его агрономом Михайловского колхоза. В армию по возрасту не взяли и назначили директором Булганакской МТС. Осенью станцию пришлось эвакуировать. Комбайны и вагончики в хлябь, нередко под бомбами, тянули тракторами через весь Крым. В Керчи творилось невообразимое. Ввиду невозможности переправы последовал приказ: «Технику уничтожайте». Жечь и взрывать технику, особенно тракторы, не поднимались руки. Решили иначе. Машины заливали маслом, густо смазывали солидолом и пускали своим ходом в воду. Они шли, пока не заглохнет двигатель. Отец вернулся в МТС через два

с половиной года. С ремонтной бригадой он поехал в Керчь, «утопленников» вытащили. Конечно, морская вода сильно проела смазку. Но все-таки из двух-трех тракторов удавалось вновь собрать один. Эти ХТЗ пахали землю еще в 1947 году.

В разгар компании против космополитов отца избрали депутатом областного Совета. Наверное, он был нужен там для декорума. Однако относился отец к своим депутатским обязанностям серьезно. Орден ему не утвердили, ограничились медалью «За трудовую доблесть». В МТС, провозжая на пенсию, подарили именные часы.

... В прошлом году я с женой и сестрой были на кладбище в Саках. Навстречу нам шли две женщины, и старшая узнала сестру.

– Я Контуганская, работала в МТС, в конторе. Знаешь, – она обращалась к своей спутнице, – жду я родов, сижу дома, и вдруг заходит директор. Говорит маме: «До больницы 15 километров. Пока есть свободная машина, может, пораньше отправим Клаву?» Я в слезы, не хочу в больницу. А он уговаривает: «Нет, Клава, лучше заранее ехать». Такой был директор Абрам Наумович.

Еще один ее рассказ. В МТС был слесарь (она назвала фамилию), хороший мастер, но любитель выпить. Как-то заявляет в контору:

– Абрам Наумович, выпишите мне аванс пятьдесят рублей.

– Чтоб ты был здоров, какой аванс, в кассе нет денег.

– Ладно, не выписывайте. Я пойду к Берте Борисовне, она мне позычит.

– Чтоб ты еще раз был здоров! Оставь в покое Берту Борисовну. На, я сам тебе одолжу. В получку не все пропивай.

У женщин была годовщина смерти родной матери. Но половину цветов они положили на могилу моему отцу.





ПРО МАМУ

Как и отец, мама родилась в колонии Ефингарь, на реке Ингул, и всеми привычками оставалась деревенской жительницей. У нее была особенная бережная нежность ко всему живому. Все годы она держала кур, выкармливала к зиме кабанчика. Когда приходило время колоть его – это было подлинное ее страдание. Но основа хозяйства – корова. Держать корову – не будешь спать. И выгнать надо, и днем идти доить в стадо, и мешок травы нарвать. Это летом. Зимой корове нужны полные ясли, теплое пойло, подстилка. Корова телилась зимой, в мороз, и мама приносила мокрого теленочка в комнату. Зато какой у нас был творог, какая сметана! А вы кушали хлеб с только что сбитым маслом, запивая свежей пахтой?

Сперва я помню грубу – печь, ее топили соломой. Мама рогачом ставила на кирпичный под кастрюли и чугуны. Она сама пекла хлеб. В Саках и МТС, где жили после войны, была уже плита. Когда удавалось купить рыбу: короп, судак, – мама фаршировала фиш. К празднику варила эсек-флейш, пекла гоменташа с маком, ба-лабушки с чесночной приправой, кихл, по моей просьбе – плачинды с кабаком – тыквой. В обыденные же дни мы довольствовались супом или красным борщом – чаще

без мяса. В летние вечера во дворе на камушках варились молочные клецки, и все было изумительно вкусно.

Мама училась, окончила сельскую школу. Она знала много русских стихов, любила читать наизусть «Поздняя осень, грачи улетели», «Лети ко мне, певунья-птичка». Еврейская книга исчезла, и Шолом-Алейхема читали уже в переводе. Маме нравился Лев Толстой, а Горького она не любила. Она напевала старые и новые еврейские песни: «Левка фурт авег», «Цвишн вег, ви фурт форен», «Ун фин унз ринт швейс». Куда девалась целая культура, богатый фольклор?..

Мама избегала врачей, после эвакуации почти никуда не ездила. Однажды побывав в Ялте у родителей моей жены, она вспоминала ее, как счастливый сон, земной рай. В бога, однако, не веровала, исповедовала добро.

Она отлично разбиралась в людях, видела слабости, но по незлобивости прощала их, ни с кем не ссорилась и не имела врагов. Соседки справа и слева между собой враждовали, а с нею ладили. Фашисты расстреляли семью маминой сестры, пятерых от мала до велика. Я служил в разведроту и мог попасть в руки врага. Ночью мама обливалась холодным потом, думая обо мне. Но пленных, взятых в Севастополе, которых пригнали работать во двор МТС, мама жалела. Она завела в дом самого молодого,

примерно моих лет, и поставила на стол еду, накормила немца. Он плакал: «Мутти! Мутти!» – и ловил целовать её руки.





О СЕМЬЕ СЛАВИНЫХ

Мои отец и мать, Абрам Наумович и Бася Беньяминовна Славины, родились и 30 лет прожили в Ефингаре (до середины 20-х годов). Они называли колонию Балгаков с украинским «Г». Говорили на родном языке идиш, говорили и по-русски с частыми украинизмами: «зэркало», «сэрдце» и тому подобное. Я там никогда не был, знаю из рассказов преимущественно мамы и записанных воспоминаний отца.

Семьи родителей папы и мамы были бедняцкие, жили они на Верхней улице. Дом семьи мамы был с худой крышей и вечно протекал. Обе семьи не имели достаточного надела, не имели лошадей. Дед Нухим Славин был грамотный, читал газеты. У него и его жены Русл (из семьи Рускол) было 8 или 9 детей. Сыновья (их было четверо), подрастая, уходили из колонии на заработки. Старший Исаак считался «сицилистом». Когда он навещался домой, в Ефингаре начинались забастовки работников. Однажды мама, опасаясь обыска и ареста, сожгла его книжки и вместе с ними нечаянно и его деньги. Это стало для нее тяжелым переживанием. Второй дед Беньямин (тоже Славин, оба деда были в родстве и имели одинаковые фамилии) ходил по селам в артели каменщиков, на старости

был ночным сторожем у лавочника Баркагана. Оба деда и бабушка Рухл умерли до революции. А бабушка Гитл дожила в семье моих родителей до 94 лет.

Папа в 13 лет уехал в Николаев и устроился маляром на завод сельскохозяйственных машин. Но его выдворили обратно в колонию, потому что евреям запрещалось жить в Николаеве. Учился он только в хедере: он был третий сын в семье, и в школе для него места не было. Мама окончила школу, она тепло вспоминала учителя Владимира Соломоновича, который даже возил ее куда-то для продолжения образования. Но ничего не получилось из-за бедности семьи. Мама до конца жизни знала наизусть стихотворения Пушкина, Некрасова, пела еврейские и русские песни. Она дружила с немкой Паулиной, помнила немца Питера Шретлина. Она говорила по-немецки, я помню ее немецкую песню «Дер май ист гекомен». Мама рассказывала, что рядом с Ефингаром было немецкое село Карлсруэ.

Ефингарская молодежь ходила гулять в сад помещика Саши Королева. Вход в сад был платный, но зато можно было вдоволь кушать фрукты. По-видимому, вокруг было немало помещичьих имений. Мама помнила свирепых объездчиков-ингушей, которых все боялись. Папа рассказывал, что среди мужской молодежи были бундовцы и сио-

нисты. Споры между ними, бывало, заканчивались драками.

Мои родители поженились в 1916 году. Против этого возражала старшая сестра папы, бывшая еще не замужем. Младший брат не должен был заводить семью раньше, чем старшая сестра выйдет замуж. В апреле 1917 года родилась моя старшая сестра Фейг (Фаня). Через три года родилась вторая дочь Рухл (Рейзл, Роза). А я был третьим ребенком в семье, младший долгожданный сын.

Во время гражданской войны часто возникала угроза погромов. Мама держала наготове узелок с самым необходимыми вещами и бутылочку с молоком для маленькой дочки, чтобы бежать прятаться в плавни. В доме оставляла намеренный беспорядок, мол, погромщики уже здесь были. Кроме бродячих банд враждебно вели себя жители соседнего села Привольное. С ними справлялась ефингарская самооборона. Предупреждали об опасности и приходили на помощь красные партизаны братьев Тур из Баштанки. Был такой случай. В колонию пришли махновцы, и среди них оказался еврей. Он как будто защитил жителей от погрома и остался в Ефингаре. Его всячески ублажали, а он стал нахальным и требовательным, угрожал привести обратно своих товарищей. Ничем нельзя было ему угодить. Жители Ефингара в конце концов сдали бандита проходящим денкинцам.

В страшный голод 1921 года папа поехал с двумя братьями на север Украины менять вещи на хлеб. Исаак заболел тифом и умер вдали от дома. Папа и брат Мотя привезли кое-что, и при жесточайшей экономии семьи были спасены. В 20-х годах мама занималась корову и по нравам того времени раздавала молоко бесплатно. Папа во время гражданской войны был в Красной Армии, участвовал в боях против Врангеля, а потом работал на мельнице, участвовал в кооперативах. Он был беспартийным, в партию вступил уже перед войной.

Я родился в начале 1926 года в еврейском поселке Фрайланд недалеко от Новополтавки. Наверное, родители переехали сюда потому, что папа всю жизнь хотел учиться, а в нескольких километрах от Новополтавки был институт. Раньше это была еврейская сельскохозяйственная школа, с приходом советской власти она была преобразована в техникум, а в мое время это был уже институт. Папа работал в учебном хозяйстве полеводом и одновременно к 1932 году закончил рабфак, был принят на первый курс института. Во Фрайланде было не более 10 – 15 домов. Помню ставок, перед ним виноградник. Мимо проходила столбовая дорога, иногда проезжали грузовые машины. Я был уверен, что они движутся оттого, что водители крутят баранки. Говорил я только на идиш. Из Новополтавки изредка приезжал врач и осматривал

больных. У меня был бронхит, я до сих пор помню капли датского короля и пертуссин.

Позже мы переехали в Новополтавку. Здесь я впервые видел кино: всадники, тачанки... Обе сестры ходили в школу, жаловались, что украинские мальчики бросают в них камнями. В хате у нас собирались соседские женщины, и кто-нибудь читал вслух Шолом-Алейхема (на идиш). По шпалам железнодорожной колеи ходили в институт. Летом 1932 года нам дали комнату в институте. Я раньше не ел хлеб из пекарни - только домашней выпечки. Мне очень нравились хрустящие корочки. Про голод пока ничего не было слышно. Отца, рядового студента и малозначительного служащего, послали на курорт в Ессентуки лечить почки. Крестьяне в селах студентов не любили, называли «скубентами». Помню студента по фамилии Князь, он ходил в кожанке и имел наган. Однажды на него в селе было нападение. Он убежал, в институте над ним смеялись. А у мамы была дружба с семьей путевого обходчика. Мы ходили в их домик, нас там угощали.

В институте жизнь была интересная. Вечерами играл духовой оркестр, студенты и студентки танцевали, пели. Помню фамилии двух уважаемых преподавателей: физик Штейн и математичка Анчиполовская. Учеба велась на идиш, но звучала и русская речь. Я уже все понимал и удивлялся: во-круг украинцы, а говорят по-русски.

Осенью институт перевели в Одессу. Мы отправились в путь. Что случилось с поселком и хорошо налаженным хозяйством, я не знаю. Вообще я больше никогда не бывал в тех местах. В Николаеве мы пересаживались из поезда на пароход. Мне был удивителен широкий Буг, невиданные садовые цветы на клумбах. В море наш старенький пароход «Игнатий Сергеев» сильно качало. В Одессе нас поселили в дачном холодном домике. Было страшно, ходили жуткие слухи о пирожках с человеческими ногтями в начинке. Позже нам дали комнату на улице Пастера. Мы бедствовали. Папа носил нам свою порцию пустого кулеша из студенческой столовки. Однажды я был с мамой на Привозе. Я удивился роскошным ярким фруктам, базарному изобилию. Но у меня даже мысль не возникла, что мне могут купить что-нибудь вкусное. Я был приучен к нашей бедности.

Папа расстался с мечтой о высшем образовании и увез нас в Крым, в Чеботарский еврейский сельскохозяйственный техникум в пяти километрах от Саки. Там в 1934 году он кончил агрономическое отделение, а я закончил первый класс. Папа учился на еврейском языке, а я на русском. В Одессе осталась старшая сестра Фейгл. Через несколько лет она стала дипломированным зоотехником. При ней институт перестал быть еврейским. Его перевели на украинский язык – студенты протестовали,

жаловались, и институт перевели на русское обучение. Так он и существует сейчас, а обучение наверняка теперь уж на украинском языке.

В Чеботарке мы, мальчики, встречали на дороге голодающих из Украины. К нам заходил ефингарец по имени Шапсе, жарил себе на плите кукурузу. Его мама подкармливала. Мама при ферме работала на сепараторе и маслобойке. Я помогал крутить рукоятку. На хозяйственном дворе работали и жили люди разных национальностей. Были семьи русских-субботников, которые почтительно относились к евреям. В техникуме была женщина-парторг по фамилии Зак. О ней говорили, что она приехала из Палестины. Я бывал в Чеботарке через несколько лет. Техникум преобразовали, оставили только полеводческое отделение, и он уже не был еврейским. Зоотехников перевели в другой техникум, в поселок Кара-Тобе того же Сакского района. Это между Саками и Евпаторией, на железной дороге у моря. Среди переведенных зоотехников был Давид Кудрявицкий, будущий командир роты, ставший посмертно Героем Советского Союза за форсирование Днепра. Теперь поселок называется Прибрежное, техникум существует. На учебном корпусе прикреплена мемориальная доска в память Героя. В Чеботарке техникум закрыли, поселок переименовали в Червонное, там находится школа-интернат.

В Сакском районе Крымской АССР до войны было четыре еврейских колхоза: имени Молотова, «Войо-Нова», Горопашник (позднее имени Сталина) и «Политотделец». Последний – самый многочисленный, крепкий. Мой отец в 1934 году получил назначение участковым агрономом МТС, мы переехали в «Молотов». Село состояло из старой части и новой. В старой, агроджойнтовской, свободная планировка, хорошие дома, правление, клуб, магазин, почта и население устоявшееся. В новой – ряд однотипных двухквартирных домов, по улице ни одного дерева. В квартирах глиняные полы, большие русские печи, отапливаемые соломой. Последние два-три дома пустовали. Мы жили в такой квартире. Летом – мальчишеская вольница. Ватага набиралась интернациональная: братья русские Ковалевы, немец Готлиб... Татары с нами не водились, хотя рядом было татарское обособленное село Карагут. Мы уходили далеко в степь, били сусликов, воевали с гадюками. За лето я сильно одичал. Осенью пошел во второй класс. Но я не помню никаких уроков. Учительница Евдокия Ивановна была очень молода и, кажется, сама мало чего знала. Мы приходили в школу, нас кормили жиденькой кукурузной кашей, мы что-то читали, писали. В третьем классе была другая учительница, жена председателя колхоза. Она учила петь по нотам, ставила с нами спектакль в клубе.

Зимой было тоскливо. Ходили слухи о банде, которая ездит на грузовике и ночами грабит сельские магазины. У нас жил следователь, добрый, общительный человек. Он рассказывал о гражданской войне, и от него я узнал, что Красная Армия не только побеждала, но терпела и неудачи. Например, в войне с Польшей некоторые части были вынуждены отступить в Восточную Пруссию, и были там интернированы.

Сестра Рухл некоторое время училась в Симферополе в еврейской школе и жила в интернате. Я еврейскую грамоту выучил самостоятельно. Позже в русской среде забыл, отучился говорить на идиш. Лишь понимал, когда разговаривали родители. Электричество в селе было, а радио я услышал лишь когда мы переехали в Саки. В клуб приезжала кинопередвижка, но «Чапаев» к нам так и не привезли. Убийство Кирова было для всех потрясением. Скажу, забегая вперед: в 1937-38 годах, когда начались процессы известных людей, «вождей», аресты воспринимались как-то отчужденно, как что-то ненастоящее. Я не верил, что Зиновьев и Каменев, Бухарин, Тухачевский предатели. Но «так надо». Вера в правильность советской власти оставалась непоколебимой.

Я отвлекся. Летом 1935 года мы еще в «Молотове». Дела в колхозах идут неважно. Папа приезжает вечером в бедарке. Он устало умывается, моет ноги. Мы ужинаем.

Нужен дождь, сохнут посевы. А я дождь не любил, потому что это гроза и будет грязь. Этим летом (а может годом раньше) я сильно болел животом. Меня лечил врач-еврей, эмигрировавший из Германии. Я чувствовал, как для него чужда наша жизнь, как его ужасает антисанитария, нехватка воды, вообще сельский быт. От него веяло тоской.

Папа в бедарке отвез меня в пионерский лагерь, хотя в 9 лет я еще не состоял в пионерах. Лагерь был в Кара-Тобе, в помещении техникума. Там я впервые купался в море. Получилось так, что ребята из еврейских и немецких колхозов составили отдельные отряды. Но розни не было, соревновались и дружили. Лагерь мне понравился, хотя я скучал по дому.

Я знаю «Войо-Ново», какой бывшая коммуна была в 1934-35 годах. Село находилось в полукилометре от той части «Молотова», где мы жили. Я ходил в общую для обоих колхозов школу. Людей было немного. Здания были капитальнее, чем наши, но уже ветшали. Скотный двор, когда-то благоустроенный, совсем был заброшен. Пустовала ферма и силовые башни. Заржавели рельсовые пути для подвоза корма. Мы, мальчишки, катались на единственной оставшейся вагонетке.

Война застала папу агрономом в русском колхозе под Саками. Его назначили директором МТС (в деревне Контуган, в 15

километрах от Саки). Мы с мамой и сестрой Розой эвакуировались в конце августа. Папа вел колонну МТС своим ходом до Керчи. Технику приказали загнать в море, а люди кое-как переправились на кубанский берег. Папа нашел нас, мы уехали в Южную Осетию, а потом в Дагестан. Там папа работал старшим агрономом МТС. Я учился в педучилище. В начале 1944 года папу вызвали в Краснодар, и он ждал там освобождения Крыма. Он прибыл в свою МТС вслед за войсками, восстанавливал ее и директорствовал до 1958 года, до выхода на пенсию. В 1949 году избирался в областной Совет. Мама до войны была швеей в артели. Родители жили в Саках и там умерли: папа в 80 лет, мама на 82-м году.

Старшая сестра Фаня после эвакуации поселилась с семьей в Прибрежном и много лет преподавала в техникуме зоотехнику. Она умерла в 82 года. Сестра Роза была недолго в армии, на фронте, была контужена, умерла в 47 лет. Обе сестры родом из Ефингари. Два брата отца, Мотя и Рахмиль, в Ефингаре не остались: первый с семьей жил в Донецке, второй на Урале. Сын Моти умер в Израиле, в Хайфе. Дочь живет в Лос-Анджелесе, там же ее сыновья со своими семьями. Дочь Рахмиля живет в штате Нью-Джерси вместе со своими дочерьми. Сестра отца, Рива, вышла после революции замуж за польского еврея, и они уехали в Аргентину. Там разрослась семья. Связи с

ними у нас нет. Младшая сестра отца Гайбл (Татьяна) с 18 лет стала человеком партии, и ее перебрасывали с одного места на другое, но больше всего она жила в Витебске. Под старость переехала в Керчь, здесь умерла в 1987 году, похоронена на почетном месте среди старых большевиков. Ее старшая дочь Женя Полтавская, московская студентка, пошла в диверсионный отряд комсомольцев. В ноябре 1941 года она и ее товарищи (6 парней и две девушки) были казнены гитлеровцами в Волоколамске. Женя посмертно награждена Орденом Ленина. Младшая дочь тети Тани, Нинель Полтавская с дочерью, внуками и их семьями живет под Хайфой в Кирьят-Бяликe.

Я в 1944 году закончил педучилище в Дагестане. В 18 лет был призван в армию, воевал. Имею боевые награды, в том числе медаль «За отвагу». 9 мая 1945 года встретил в Берлине. После демобилизации поступил в Симферопольский пединститут, а после его окончания работал учителем истории в Керчи. В 1974 году меня приняли в Союз Писателей. С моей женой Лидией Николаевной мы вместе учились, она тоже историк. Мы оба пенсионеры, я имею льготы инвалида войны. Сын Владимир с семьей – москвичи, дочь Татьяна живет в Питере. В Хайфе живет дочь Фани, моя племянница Людмила Митясова.

В братской могиле ефингарцев – жертв гитлеровцев, наверно покоится моя теть Хая со всей своей семьей в 5 человек. Они жили в селе Привольном и не сумели эвакуироваться.

Публикуется впервые

22-11-2006



О КНИГАХ, ПУБЛИКАЦИЯХ

ПИСАТЕЛЯ

ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ



В КЕРЧЕНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

(«Керченский рабочий», 26 октября 1954 г.)

На днях в помещении редакции состоялось очередное собрание членов Керченского литературного объединения. На собрании присутствовали председатель Крымского отделения союза писателей Украины лауреат Сталинской премии Е. Поповкин и ответственный секретарь отделения М. Михалев.

Обсуждались рассказы С. Башарина «Ты мне не мать» и Н. Славина «Главное». Автор первого произведения показывает, как в годы Отечественной войны, во время бомбежки молодая мать подбрасывает грудного ребенка девушке Смеловой. Из осажденного врагом города девушка уезжает в тыл страны. Она испытывает большие житейские трудности, но ребенка не отдает на попечение государству, он становится для нее родным сыном. Проходит десять лет.

Мальчик учится в школе, он пионер. И вот Смелова случайно встречается с Воронинным – отцом мальчика Анатолия. Воронин просит вернуть сына, но получает отказ. Дело доходит до суда. Суд оставляет Анатолия у приемной матери.

Выступающие говорили о том, что рассказ С. Башарина интересен по замыслу, но написан слабо. Автору не удалось глубоко и ярко описать переживания Евдокии Смеловой, показать, почему чужой ребенок стал для нее дорогим, кровным. Рассказ местами растянут, сух, язык героев почти однообразен.

Рассказ Н. Славина о студенческой жизни. Написан он более умелой рукой, но не имеет конца.

Писатели Е. Поповкин и М. Михалев говорили о том, насколько сложно ремесло литератора, сколько нужно сил и упорства для того, чтобы написать произведение, которое волновало бы читателя. Они отметили, что Керченское литературное объединение выросло, его задача состоит в том, чтобы больше и лучше писать о металлургах, рыбаках, о восстановлении города. Затем члены литобъединения рассказали, что они пишут, какие испытывают творческие трудности и в какой нуждаются помощи. Е. Поповкин заверил, что Крымское отделение союза советских писателей будет держать более тесную связь с керченскими литера-

торами и помогать им в литературной работе.

Е. Поповкин и М. Михалев побывали на руднике Камыш-бурунского железорудного комбината. Здесь они ознакомились с отвально-транспортным мостом и другими сложными механизмами, с помощью которых производится добыча руды.

В горнопромышленном училище писатели встретились с будущими молодыми специалистами, рассказали им о развитии советской литературы, о предстоящем втором всесоюзном съезде писателей СССР. На эту же тему в библиотеке горкома партии Е. Поповкин прочел доклад партийному и советскому активу города.





В. Биршерт

«ГОЛУБИ В НЕБЕ»

(«Знамя коммунизма», 28 августа 1960 г.)

Восьмиклассница комсомолка Валя Никитина, желая помочь бабушке, понесла в церковь святить куличи. Она не думала, что этот ее, на первый взгляд, хороший поступок, может быть понят по-другому. Но, когда товарищи по школе стали стыдить ее подругу Аську, не зная, что и она была в церкви, Валя поняла всю тяжесть совершенного. Она, комсомолка, была в церкви, и ее даже хвалили богомольные старушонки. Мучимая угрызением совести, Валя прибежала к учительнице и все рассказала ей. Через день она предстала перед членами комсомольского комитета.

Суд товарищей был короток и строг. Юношеская прямолинейность подсказала только одну меру – исключить из комсомола. Этого с жаром требовала Женя Величко, десятиклассник Олег, для которого самое главное было в том, чтобы все шло в соответствии с Уставом. Трудный момент в жизни только начинающего свой путь человека, и хотя старшие товарищи – учительница Лидия Александровна и член горкома комсомола Николай – сумели подсказать комсомольцам правильное решение, – Валя

получила только серьезное предупреждение, – все же именно этот разговор на комитете стал поворотным в ее жизни.

Сцена в комитете комсомола, пожалуй, самая лучшая в повести керченского педагога Н. Славина «Голуби в небе». Повесть очень проста по сюжету, это рассказ об учениках восьмого класса одной из школ нашего города. Читатель, знающий Керчь, может даже угадать, что это за школа, а те, кто учился или учится там, может быть, узнает себя в героях. То, что произошло в этой школе, могло произойти и в любой другой, где есть свои Вали, Аськи, свои Кости. Это не выдуманные герои, автор повести педагог, он знает их.

... Живет в поселке, где установлен памятник погибшим партизанам, девочка Валя с бабушкой. Сын бабушки и Валин отец похоронен под этим скромным обелиском. Живут старушка и девочка тихо, оторванно от людей, бабушка по вечерам молится богу и сердится, если Валя не возвращается вовремя домой. В такой обстановке Валя растет не в меру замкнутой, тихой девочкой. Но эта тихая жизнь кончается, когда ее, одной из первых, принимают в комсомол. Теперь Валя позднее возвращается домой, вызывая молчаливый протест бабушки. Так день ото дня нарастает внутренняя борьба. Девочке жаль бабушку, кроме которой у нее никого нет, и она старается реже оставаться в школе после уроков, невольно отрывается

от товарищей. Она не может сама найти правильного пути. Как быть: и бабушку жалко, и обидно чувствовать недоверие товарищей. Может быть эта раздвоенность, жалость к бабушке и толкнула ее на историю с куличами.

Валя – главная фигура в повести, но всю ее, еще по-детски наивную и не по возрасту замкнутую натуру, трудно было бы понять, если бы не ее отношение к окружающему, к людям, которые рядом. Но и сами эти люди не только объекты для выражения Валиных чувств, отношений, они живут своей жизнью, у них свои радости и печали, они по-своему познают жизнь, через свои трудности.

Неугомонная забияка и задира Аська противопоставлена спокойной, замкнутой Вале. За грубостью и бесшабашностью Кости скрывается хорошее увлечение голубями. «Голубиная болезнь», как известно, очень распространена среди ребят, и в книге хорошо показано, что если это увлечение умело направить, оно может принести пользу и даже победить дурные наклонности.

Под влиянием жизни рушатся беспощадно прямолинейные взгляды Жени Величко, и она начинает по-другому относиться к чужим ошибкам.

А сама Валя находит полезное занятие, которое делает ее нужной в коллективе. Это чувство собственной «нужности» избавляет ее от робости, помогает лучше понять това-

рищей, искать у них помощи, верить им. Но доверие пришло не сразу, этому новому рождению и бабушки, и внучки помогли такие люди, как комсомолец Николай, учительница, помогла и память об отце, мужественном человеке, погибшем за счастье и светлую жизнь на земле.

Повесть Славина затрагивает еще один вопрос, которого почти всегда боятся авторы книг о школьниках. Это первые проявления большого и прекрасного чувства человеческого – чувства любви. Правда, кажется, что автор и сам боится своей смелости: «А ну, как все восьмиклассники начнут думать об этом?» Думается, что этого нельзя бояться, от этой темы никуда не денешься, как не уйдешь от самой жизни. Нужно только правильно понять и передать эти первые, еще робкие ростки, не испугать их, передать так, чтобы в этом не было оглядок, авторских недомолвок. Это нелегко, и это не совсем удалось автору.

Книга вышла из печати, в целом нужная книга. Хочется от души пожелать автору, чтобы его «Голуби...» были не единственными в нашем керченском небе.





Мария Глушко

САШКИНО БОЛЬШОЕ ЛЕТО

(«Крымская правда», 19 августа 1965 г.)

Сколько событий произошло у Сашки Коломыйца за короткий летний месяц. Много было всего – и светлого, и горького. Может, с этого и начнется новая Сашкина жизнь?

Вот потому оно большое, Сашкино лето.

А пока обитает он в доживающей свой век старой слободке.

Как и везде, разные люди живут здесь: и такие, как тунядец Дмитрий Степанович, Сашкин отчим, или франт и бездельник Сега; и такие, как учительница Вера Петровна и ее муж-милиционер, которого мальчишки между собой запросто называют «дядькой Борькой». Сашке суждено и гордиться старой слободкой – конечно, не халупами-завалюшками, которые вот-вот снесут, а людьми, жителями ее: ведь это тут во время войны в доме Веры Петровны прятались беглецы из концлагеря, а мать учительницы была связной подполья.

Возможно, иначе бы, покладней сложилась бы судьба Сашки, будь у него отец, похожий на «дядьку Борьку» или на Ивана Ивановича. Но отца у Сашки нет – хуже, чем нет: если б умер, хранили бы они с матерью уважительную память о нем, а Сашка, перебирая оставшиеся ему в наследство вещи отца,

наверное, мысленно советовался бы с ним о своей мальчишеской жизни. Но непутевый отец бросил его, оставив в наследство только чувство обиды. А отчим – не считается. И не потому, что он отчим, а просто потому, что Сашке стыдно за него: не работает, сидит на шее жены, и вся его забота – пометить цыплят, чтоб с чужими не перепутать да не накормить бы тех ненароком даровым зерном.

Все это нужно иметь в виду, даже если судить Сашку по самому строгому счету: есть люди, крепко виноватые перед ним.

Среди виноватых – и Сега: внешне ярок и бросок, умеет с шиком одеться, сыплет афоризмами, которые невзыскательным подросткам кажутся верхом остроумия. А кроме того Сега – превосходящая физическая сила, которая в перечне уличных доблестей занимает не последнее место. Не для себя, а для Сеги и по его приказу ворует Сашка папиросы и бутылки с вином, для Сеги и вместе с ним глушит рыбу, которую потом предприимчивая Сегина тетка снесет на рынок.

А вообще-то Сашка – мальчишка как мальчишка: увлечен голубями, за длинный день не успевает переделать все свои ужасно важные дела; перед девчонками умеет разыграть гордую независимость, и, как всех мальчишек, жгуче манит его тайна партизанских каменоломен. Он любознателен, умеет быть справедливым и смелым – ни пижонистому Сеге, ни чистюле Ларисе не сделать того, что

сделал он: вырвал из рук малышей готовую взорваться мину и отбросил ее, прикрыв собой мальчугана.

Вот такой он, Сашка Коломиец, – сложный, противоречивый – таких называют «трудными», – и взят он из жизни, а не из сладенького рождественского рассказа.

Этот образ представляется мне главной удачей Н. Славина.

Можно не сомневаться в том, что найдутся критики, готовые воскликнуть: «Как?! И это герой книги? Курит, ворует, браконьерствует!.. И дети, читающие эту книгу, должны брать с него пример?»

Стоп, разберемся. Давайте будем строго судить Сашку Коломийца, но прежде честно спросим себя: а разве таких мальчишек нет? Есть – иначе бы не стояла перед нами так остро проблема воспитания. Есть они, такие подростки, и мы сталкиваемся с ними в жизни.

Н. Славин, автор книги, вовсе не ставит своего героя в пример юному читателю – наоборот, на протяжении всей повести он ведет с Сашкой строгий разговор – не сюсюкая, не приседая на корточки и не впадая в менторский тон. И не только те места, где автор, обрывая повествование, обращается непосредственно к Сашке – вся повесть является взыскательным разговором о жизни. Автор останавливает внимание на Сашке и взрослого, и юного читателя: присмотритесь, в нем много хорошего – это то, что дали ему окру-

жающие, но в нем есть и плохое – и это тоже от людей. А сколько таких вот «трудных» Сашек прочтут о себе и задумаются!

И опять давайте честно спросим себя: все ли мы сделали для того, чтобы в таких вот мальчишках хорошее одержало верх над плохим?

А могли бы. Смог же Иван Иванович как-то незаметно, неуловимо повернуть Сашкину жизнь? Впрочем, на выручку Сашкиной судьбе бросились и Вера Петровна, и «дядька Борька»... Ну, эти свои, слободские...

Иван Иванович – другое дело. Человек незнакомый, на Сашку не глядит, как на отпеченого, потому что худая Сашкина слава не дошла до него – как, впрочем, и добрая. Выручил мальчишку из беды, в которую втянул его трусоватый Сега, и вот живет убежавший из дома Сашка в палатке геолога, на равных работает с ним, берет пробы, спускается в каменоломни. И вдруг узнает: Иван Иванович не просто геолог. Это он числился в концлагере под номером 2777. Это он, убежав из лагеря, прятался в доме Веры Петровны, а потом – сражался в каменоломнях. И он, этот человек, быть может, первый заговорил с Сашкой уважительно и помог ему возвыситься в собственных глазах.

«Встретятся тебе еще на пути ухабы и кочки, встанут впереди и каменные кручи», – предупреждает Сашку автор, и это верно. Было бы наивно полагать, что так вот сразу и

круто изменится Сашкина жизнь. И все же на вопрос, адресованный ему: «Какой путь изберешь?» – хочется ответить: трудный и честный путь изберет Сашка Коломиец.

Не всем повезло в повести в равной мере. На фоне четко выписанных характеров Сашки, Сеги, Дмитрия Степановича, бледно и безлико выглядит учительница Вера Петровна и девочка Рая. Это – дежурные фигуры, а ведь на них лежит определенная идейная и сюжетная нагрузка. Не спасает образ учительницы и рассказ о том, как в войну, двенадцатилетней девочкой, помогала она прятать советских людей, бежавших из концлагеря, – все равно она выглядит заданной, схематичной. И Рая придумана, как схематичный укор Лариске. Слабо, «на живую нитку» связаны с главным сюжетным стержнем пионеры-тимуровцы во главе с вожатой Тоней. Все это введено автором в повесть явно ради, так сказать, «ассортимента», досадно замедляет повествование о главном и загораживает это главное.

И все же недостатки повести не снижают читательского интереса к ней – остро поставленная тема, воплощенная в живой жизненный материал, позволяет оценить повесть «Сашкино лето» как серьезную и зрелую работу способного писателя Н. Славина.





В. Маковецкий

ГОРИЗОНТ В НЕСКОЛЬКИХ ШАГАХ

(«Крымская правда» 10 января 1974 г.)

У этой книги о фронтовых разведчиках непривычный подзаголовок – повесть-воспоминание (Н. Славин. «Мы – разведчики». Повесть-воспоминание. Издательство «Таврия», 1973 г.) и первая мысль у читателя: что это за жанр такой – повесть-воспоминание? Чего-то чудит автор. Ну, назвал бы просто повестью, на худой конец, прибавил бы слово – документальная. Ведь любая вещь о войне, написанная ее участником, является, в сущности, воспоминанием... Но вот книга прочитана, и видишь, как хорош и уместен этот подзаголовок. Документальная требует масштабности, историчности событий, обычная повесть в большинстве случаев запечатлевает сиюминутность происходящего, и все ее действие строится по законам композиции, в рамках сюжета. Здесь же от первого лица безо всяких ухищрений рассказывается о том, что сохранила память рядового разведчика. Одного из многих. Лично ничем особенно не отличившегося. Время, когда он лежал, припав к земле, а горизонт был в нескольких шагах, и нельзя было из-за обстрела поднять головы – это время ушло в про-

шное. Автор и не пытается обжечь читателя ощущением пережитой опасности, заинтересовать военными приключениями. Да их и не много выпало на его долю. Зато о себе и своих сверстниках, которым сегодня за сорок, он может сказать: «Моложе нас не было». Так называется одна из глав. Это его сегодняшние слова. В них гордость бойца, вставшего на защиту Родины, печаль о павших товарищах и – музыкальный ключ всей повести. Прислушайтесь, как она звучит, сколько чувства в этой короткой и негромкой фразе: «Моложе нас не было...»

Всех песен за раз не споешь. У памяти, как говорит автор, свои причуды, и то, что она сохранила сегодня, еще не составляет полной картины прошедшего. Закон войны суров – все права личности, даже само ее право на существование, подчинены общей борьбе за жизнь государства, народа. Конечно, тебе позволят выйти из колонны, чтобы перемотать портянки, но не из милосердия к тебе, а потому, что ты нужен на крепких ногах, не хромой. Прикажут – пойдешь и со сбитыми ногами. Но все же и в этом железном потоке живы душа, мирные привычки, жажда общения, узнавания человеческой красоты. Именно и сберегла память автора, сделав свой отбор. И еще сберегла образ юности.

Вот на одной из первых страниц вечер, сумерки, бомбят эшелон, в котором едут на фронт новобранцы. Тревога! Все из вагонов

– вроссыпь: «Сидим на жестких кочках, озираемся. Жутко и весело, будто в прятках, когда тебя не застучали». Мальчишки? Ну, конечно. Для них все это еще похоже на игру. И потом, после ранения, в госпитале среди ветеранов – то же мальчишеское самоощущение: «... Заслуженные солдаты, а принимают на равных. Уважают в моем лице пехоту. И я сознаю свое достоинство».

Идут дни, и уже не мальчишка – солдат гранит подошвами камни фронтовых дорог. Это взросление отчетливо видно в эпизоде дневного поиска разведчиков. Провести дневной поиск, то есть среди бела дня пробраться в расположение врага и добыть «языка», – риск огромный. Тут, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. Объятый тревогой за товарищей и за успех дела, новичок-разведчик передает свои ощущения торопливо, бегло. Глава – почти эскизная зарисовка. Но потом у него, малость обжившегося в разведдзводе, возникает потребность заново осмыслить то, чему он был свидетелем. Появляется еще одна глава о том же дневном поиске. Теперь он может кое в чем даже поставить себя на место командира Зарудного, проводившего операцию, то есть посмотреть на события его глазами. И первый беглый рисунок насыщается красками, размышлениями. Действие оживает, обретает плоть и глубинный смысл. В этом возвращении к пережитому мы видим уже не прежнего

мальчишку – видим набирающегося опыта молодого разведчика.

Больше всего мне понравилась в повести глава «Мой автомат». Она так хороша, что, честное слово, ее можно рекомендовать для курса обучения нынешних молодых воинов. Жаль, что ее нельзя привести целиком. Ну, хотя бы такой отрывок:

«Как ни напрягаю память, не припомню себя и его раздельно... Если короткий привал и можно сесть, я прилажу автомат на коленях: удобно мне и сохраннее ему. Во время еды, за артельной миской, я всегда ощущаю расстояние до гвоздя, на котором он висит, или дерева, к коему прислонен автомат. Если ничего не грозит и назначены дневальные, возможно, он пробудет так до вечера. Но спать непременно нам вместе, мне нет изголовья спокойнее. Соломы или хвои против сырости я натрушу не себе, а под автомат, с меня довольно шапки на жестком прикладе».

Спросите любого фронтовика – здесь удивительная точность ощущений.

Видимо, надо сказать и о недостатках. Они есть. На мой взгляд, нечетки, с трудом видятся некоторые персонажи. Тут надо было бы действовать по принципу – лучше меньше, да лучше. Скуповато рассказано о делах разведчиков; хотелось бы побольше тех примет, того опыта, зоркости и умения, которые, выйдя из войны, помогают затем и в мирной жизни. Неплохая глава «Песни»

могла быть сильнее – тема-то какая! Если уж задел эту струну, так давай, поднастройся и заиграй в полную силу, то есть дай эпизод с песней, чтобы читателю сердцем почувствовать, как певали разведчики.

При всем том эта книга много лучше прежних книг Н. Славина, с которыми уже знакомы читатели. Сам он педагог, преподает историю в одной из керченских школ – о школьниках, о пионерах были и его книги. Знать, его сковывало серьезное отношение к своей профессии. Это чувствовалось, хотя в тех книгах тоже были и юмор, и лирика, и основательное знание жизни.

Последняя повесть обращена к читателям постарше, к восемнадцатилетним. Свободный, раскованный тон повествования – найден свой голос. Значит, будем ожидать от Н. Славина новых книг. Книг, так же ощутимых на полке, как солдат ощущает расстояние до гвоздя, на котором висит автомат.





Л. Мангули

ВСЕ, ЧЕМ БОГАТ, – ЛЮДЯМ

(«Керченский рабочий», 12 августа 1981 г.)

Каждая новая книга керченских литераторов – это большое событие в литературной жизни города. Повесть «Сестра» Наума Абрамовича Славина, только что вышедшая в издательстве «Таврия», вызывает особый интерес. Короткая аннотация к ней говорит: «Главная героиня повести – скромная труженица, медсестра. Старшая в семье, осиротевшей в годы войны, она подняла на ноги брата и сестру, рано потеряв мужа, одна растила сына и дочь. Человек открытый, большой души, она нужна не только родным, но многим-многим из окружающих ее людей. С большой теплотой и глубиной исследует автор характерный для наших дней тип женщины: отзывчивой, благородной, постоянно готовой взять на себя чужую боль или заботу».

Первая часть повести, которая называется «Женя», уводит нас в юность главной героини. На долю девушки только что окончившей десятилетку, как, впрочем, и всех ее сверстников, выпало трудное – война, которая, как говорит автор, перекраивала жребии и судьбы. С первых дней она несла с собой горе. Женя рано познала боль

утраты близких людей, лицом к лицу столкнулась со страданиями, муками, смертью.

Работая вместе с матерью-врачом в военном госпитале санитаркой, а потом медицинкой сестрой, она не раз искала ответ на мучивший вопрос: «Где нужнее она сейчас? Там, в бою, на передовой, где героически погибла подруга, или здесь?» «Катина жизнь как взрыв. И, думалось Жене, подруга превозмогла смерть, испытав яркое, как молния», счастье боя. Будет ли счастлива она, живая, на своем веку?

Ответ на вопрос героини даем мы, читатели. Да, она по-настоящему счастлива своей добротой, открытостью к людям, умением разделить с ними и боль, и радость. Дороги войны накрепко связали ее судьбу с судьбами тех, кому она щедро отдавала тепло своего сердца. Мы узнаем их и во второй части повести, когда Женя, ставшая теперь Евгенией Яковлевной, по-прежнему любит этих дорогих людей, постоянно чувствует, что нужна им. Мысленно возвращаясь в прошлое, Евгения Яковлевна ведет молчаливый диалог с мужем: «На войне ты мог умереть, как герой, но жить – обыкновенным человеком. А разве мало – быть обыкновенным человеком, нужным работником, добрым отцом и мужем?»

А мы, читатели, воспринимаем эти мысли героини в ее же адрес. Да. Разве ма-

ло – быть обыкновенным честным человеком, нужным работником?.. Такая она, Евгения Яковлевна Пожогина. Ее подруга Антонина как-то заметит:

– Мужа молодая схоронила, двоих детей вытянула. Что бы еще на свой горб взвалить?

– Не в одиночку я Катю с Володей растила, – ответит Евгения Яковлевна. – Сестра с мужем, брат, вообще люди помогали.

– Ой, не смейся – люди! Ты себе внушила. По твоему характеру все тебе ладно, никакой кручины.

И в этом ее великая человеческая суть – отдавать людям все, чем богата, не оглядываясь, делать добро, ничего не требуя взамен, не боясь перебить хорошего. И это не жертвенность, как говорит автор, а потребность максимального добра.

Переворачиваешь последнюю страницу книги с чувством благодарности такому человеку, радости, что он есть на земле, где-то живет и трудится рядом с тобой. И уже неудержимо желание встретиться с Евгенией Яковлевной, заглянуть ей в глаза. Настолько перед тобой предстает реальный образ. Но повесть не документальная, и по тому есть прототип героини.

– Я не придумал такую женщину, – поделился со мной Наум Абрамович Славин. – И у нее множество прототипов. Я их часто встречал. Мне кажется, мы не всегда их замечаем, потому что они скромные, делают

людям добро и находят в этом свое счастье. Толчком к созданию повести послужил рассказ попутчицы в автобусе, следовавшем по маршруту «Симферополь – Керчь» Но я несколько отошел от этой конкретной судьбы. Это было сделано для того, чтобы обобщенном образе Евгении Яковлевны себя могли узнать многие.

И потому, что автор вложил в свою героиню лучшие черты наших современниц, она стала нам такой близкой и понятной.

Хотя во второй части повести и не сказано, что действие происходит в Керчи, но мы, керчане, узнаем свой город. И вырисовано его с особой любовью. Листая страницы книги, мы побываем на горе Славы – это наш Митридат, у Вечного огня, вместе с героиней повести примем участие в праздновании Дня Победы, пройдем тихими улочками, которые так мирно соседствуют с новыми микрорайонами, нас будут волновать проблемы и заботы больницы – это явно второе лечобьединение. Даже узнаем врачей. Хотя это тоже образы собирательные.

Тепло становится на душе оттого, что приобщился к правде жизни, смог соизмерить свои дела и поступки с делами и поступками других людей, в чем-то стать лучше и чище. Повесть написана ярким образным языком, читается легко и с интересом. Новая книга писателя явилась и новой, значительной вехой на творческом пути

Наума Славина. В нее вложены годы наблюдений, поисков. В ней как в зеркале, отражены характеры людей, с которыми писателя сводила судьба на дорогах жизни. Книга станет одинаково интересной как тем, кто пережил военное лихолетье, так и молодежи.



ОН ЧЕЛОВЕК БЫЛ...



В. Славин

МОЙ ОТЕЦ

Мне трудно и странно писать об отце в прошедшем времени: он был... Трудно и странно представить, как я приеду домой, позвоню в дверь нашей квартиры, мне откроет мама, а он... Он не выйдет, улыбаясь, из комнаты встретить меня. Картина этих встреч свежа в памяти, так продолжалось много лет по несколько раз в году. И думалось тогда: пусть бы это длилось подольше.

Но вот отца не стало. И с мыслью об этом еще предстоит смириться.

* * *

Говорить о своей благодарности и любви к дорогим нам людям мы подчас не считаем уместным, да толком и не умеем, когда они рядом, вместе с нами. Но ведь и подлинное понимание того, насколько много значил в твоей жизни близкий человек, осознание его незаменимости приходят слишком поздно.

* * *

Каким он был, мой отец? В детстве он был для меня хорошим папой. Нет, не так: просто папой. Потому что в детских моих представлениях папа и не мог быть иным, – только хорошим. Папа шутит, смеется, с ним интересно, он позволяет печатать на своей пишущей машинке, учит плавать...

В год моего рождения отцу исполнилось 35 лет, в пору моего детства он уже был человеком с большим жизненным опытом за плечами. Он учительствовал, писал, его книги издавались, руководил керченским литобъединением. Думаю, что для отца это были лучшие его годы: бодрые, плодотворные, насыщенные трудом и общением. Но, несмотря на вечную занятость и множество обязанностей, семья всегда была у него во главе угла. Такое отношение к семье передалось ему, как по эстафете, от родителей, моих дедушки и бабушки. Они жили в городе Саки, в детстве я часто у них бывал. Так же, как и в Ялте, у дедушки и бабушки – родителей мамы.

* * *

Родители отца, Абрам Наумович и Бася Беньяминовна Славины, всю свою жизнь были связаны с трудом на земле, они происходили из семей евреев-крестьян, а молодость их прошла в селе Ефингар в Николаевской области. Это было одно из еврейских сел, возникших в начале XIX века, ко-

гда евреев-переселенцев наделили землей в южных губерниях. Как-то в интернете я нашел посвященный Ефингару сайт, его открыл и ведет энтузиаст-историк, чьи родители оттуда родом. Как он сообщает, от того Ефингара не осталось ровно ничего: ни названия, ни даже кладбища. На сайте приведен список жителей села, убитых гитлеровцами во время оккупации. Почти 400 человек, от мала до велика. Среди них и те, кто носил фамилию Славины, их в списке 19 человек.

* * *

Наверное, самые яркие воспоминания детства, связанные с отцом, – о туристических походах, в которые он ходил со своими учениками и брал меня с собой. Многие, наверное, помнят эти «звездные походы», как они назывались, по местам бывших боев. Ночлег в палатках, песни у костра, пахнувшая дымком каша из концентрата.. Ходили на Маяк, в Юркино, помню также поездку в Новороссийск: там палаточный лагерь располагался у берега Цемесской бухты, на легендарной Малой земле. Теперь я думаю: вряд ли организация этих походов вменялась учителям в обязанность. Но ведь водили они ребят, принимая на себя ответственность и не считаясь со своим личным временем, – чтобы школьная жизнь была интересной и запоминающейся. Те старые

учителя были настоящие подвижники, любящие детей и свое нелегкое дело.

Конечно, в этих походах я был для отца «дополнительной нагрузкой»: за ребенком следовало присмотреть, чтобы не влез куда не надо, не перегрелся, не простыл, вовремя лег спать. Куда проще было бы оставлять меня дома и не морочить себе голову лишними заботами. Но он-то так не думал, и уже с семи-восьми лет я его сопровождал повсюду, куда бы он со своими учениками ни отправлялся. В походах я приучался не быть неженкой, терпеть трудности, не ныть и не канючить. Такова была мудрая и ответственная, самая правильная отцовская педагогика.

* * *

Как к своему учителю относились ученики? Когда я, будучи уже взрослым человеком, бывал дома, и мы с отцом выходили прогуляться, нередко кто-нибудь подходил и тепло с ним здоровался. На мой вопрос «кто это?» чаще всего следовал ответ: бывший ученик (бывшая ученица). Эти люди, часто уже немолодые, со школьных лет помнили и ценили отца, я видел и чувствовал, с какой симпатией они к нему относятся. Безусловно, он был уважаемым, настоящим учителем.

* * *

После окончания школы я уехал в Москву, поступил в институт, да так и остался в столице, стал москвичом. В Керчи, в родительском доме теперь бывал только наездами. Пока маршрут Керчь-Москва был отцу и маме по силам, они тоже приезжали ко мне и моей семье погостить.

Таков парадокс: родителям и их взрослым детям, постоянно живущим бок о бок, не часто случается поговорить по душам, отвлекшись от сиюминутных бытовых вопросов. А вот расставания усиливают тягу к душевному общению. Когда нам доводилось быть вместе, мы с отцом часто и подолгу беседовали. Чаще всего говорили о политике, на темы истории, о литературных делах. Отца интересовало мое мнение, во мне он находил еще и представителя более молодого поколения, и было видно: его радовало частое сходство наших мнений по самым разным вопросам. А у меня в этих беседах многие мысли, прежде для самого себя непроясненные, как будто по полочкам раскладывались, получали внятную форму. В некоторых оценках мы с ним, бывало, расходились, но свои взгляды на ряд важных событий нашей истории я воспринял от отца. Например, из разговоров с ним я вынес убеждение, что Октябрьская революция, которую нынче принято считать злом и ката-

строфой, была событием исторически оправданным и по высшему счету справедливым.

* * *

В последние свои годы отец в разговорах все чаще уходил в воспоминания о родителях, о детстве. Эти воспоминания были светлыми, хотя его семье довелось пережить всякое: голодное время в начале тридцатых, неустроенность, частые переезды с места на место, потом несколько сравнительно благополучных лет в Саках, но следом – война и мытарства в эвакуации.

И о фронте отец вспоминал светло. Сам он объяснял это так: на фронте, как нигде, было у них, молодых ребят, чувство братской общности, ясное понимание причастности к великому и справедливому делу. И было это чувство сильнее и важнее страха быть убитым или искалеченным, сильнее усталости и всего того, что несла война. Конечно, они тогда так не думали и высокие слова им были чужды. Но спустя многие годы пришло понимание, что война была для них, ветеранов-фронтовиков, временем высшего душевного взлета.

Фронтная жизнь, боевые эпизоды в рассказах отца выглядели буднично, не киношному. Из его рассказов выходило, что война – это прежде всего многокилометровые переходы на голодный желудок по бездорожью и с тяжелым грузом амуниции,

рытье окопов и землянок, свист противопехотных мин над головой. На фронте ему исполнилось 19 и, может быть, по молодости не казались смертельной опасностью выходы в поиски за линию фронта?

Я горжусь отцовской боевой медалью «За отвагу». А сам он больше, чем медаль, ценил полученный им тогда значок «Отличный разведчик».

* * *

Как, наверное, любого из бывших фронтовиков, отца война, что называется, — перепыхала. Не случайно он, как писатель, от детской, школьной тематики ушел к теме войны. Воспоминания о том времени не только не отпускали, но и все больше захватывали. В 70-е — 80-е годы отец активно переписывался с фронтовыми друзьями, ездил на встречи. Я однажды побывал с ним на такой общей встрече в Москве, на 40-летие Победы. Еще нестарые крепкие мужчины, громогласные, бодрые, с рядами многочисленных наград на пиджаках... В последующие годы встречи прекратились, постепенно стала затухать переписка, адресаты вовсе переставали отвечать на письма. Они уходили один за другим. Отец был самым молодым в кругу своих близких фронтовых друзей, думаю, что он и ушел последним.

* * *

Их, фронтовиков, остается все меньше. Среди тех, кого я знаю, осталось двое. Мой дядя, Александр Петрович Токун, отметивший 90-летие. Мой тесть, Владимир Яковлевич Беседин, ему 87. Преклонные годы, болезни, но при этом – чувство высокого достоинства, выполненного долга. И спокойное, мужественное осознание того, что жизнь завершается. Эти люди твердых убеждений, многое повидавшие и испытывавшие на своем веку, далеки от религии, все принимают без прикрас и не нуждаются в утешениях. Безмерно уважаю их, людей особого склада, особого поколения. Нам и тем, кто за нами, до них не дотянуться. Та-ким был и мой отец.

* * *

Он относил к своему везению то, что уцелел на войне. Вообще считал себя счастливым человеком и о своей жизни говорил: «как будто меня ангел-хранитель оберегал». Для него, неверующего, выражение «ангел-хранитель» было образом, символом благоволения судьбы. Он прошел войну, занимался любимым делом, был востребован, его уважали и ценили очень многие, встретил в молодости замечательную девушку, ставшую его женой и нашей мамой, прожил с нею душа в душу, в любви и уважении более шестидесяти лет, вырастил детей, ви-

дел, как растут и взрослеют внуки... Действительно, счастливая судьба.

* * *

По своим убеждениям отец был, конечно же, коммунистом, в том незапятнанном значении этого слова, которое соответствует представлению о лучших человеческих качествах. Коммунистические идеалы справедливости, равенства, нестяжания, самоотдачи на благо общества он безусловно разделял и считал своими. Но помню, как в разговоре о событиях 1917-го года и Октябрьской революции он не без самоиронии заметил: «Случись мне тогда жить, я, наверное, был бы меньшевиком». Не было в нем большевистской непреклонности, а сочувственное, гуманное отношение к людям он ставил выше отвлеченных идей.

Распад СССР, отчуждение Украины от России отец воспринял с болью. Но не считал это, как многие, особенно среди людей его поколения, результатом заговора неких темных сил. Вину он возлагал прежде всего на верхушку КПСС: косную, трусливо уклонявшуюся от решения насущных проблем общества, доведшую страну до экономического и идеологического краха. Ведь отец был историком не только по своей учительской специальности, он обладал историческим мышлением, способностью увидеть объективную закономерность в совокупности разрозненных фактов.

* * *

Его талант историка в полной мере проявился в книге «Эльтиген. Взгляд сквозь десятилетия», я считаю ее лучшей из книг отца. Ей он отдал много лет, это была кропотливая и очень непростая работа. Он анализировал все прежде написанное о десанте, изучал документы, добившись доступа к фондам архива Министерства обороны СССР, обсуждал и уточнял подробности эльтигенских событий при встречах и в переписке с военными историками, сопоставлял зачастую противоречивые воспоминания участников десанта.

Его книга не только детальное, достоверное изложение хода десантной операции. Это глубоко продуманные и до душевной боли прочувствованные мысли отца о войне, о причинах поражений и побед, об истоках патриотизма советского солдата. Отец вложил в книгу свой военный, жизненный опыт, свое понимание истории, в книге сполна отразилось его мировоззрение. Оставаясь верным себе и отстаивая свою точку зрения на военные события, он во многом пошел наперекор широко распространенным ортодоксальным взглядам на войну. Тем взглядам, в соответствии с которыми мудрость и дальновидность военачальников не подлежат сомнению, а о поражениях и ошибках говорится неохотно и вскользь.

Книга была написана в трудные времена, маловероятным выглядел ее выход в свет в условиях развала системы государственного книгоиздания. При этом отец наотрез отказывался выпустить ее за свой счет, книга об Эльтигене должна быть издана государством – это он считал принципиальным условием. Так оно и произошло, книга была издана государственным издательством «Крымучпедгиз».

* * *

Отец был человеком русской культуры. Более всего он любил русскую классическую литературу, живопись, музыку. Конечно же, ценил и европейское классическое искусство, которое с нашей культурой нераздельно. У нас дома была толстая пачка репродукций картин, из собраний Третьяковки, Русского музея, Эрмитажа, которые печатались тогда в каждом номере журнала «Огонек». Родители использовали их как наглядный материал на своих уроках истории. Я эти репродукции тоже часто разглядывал, благодаря чему получил представление о русской и мировой живописи, прорисовывая интересом к ней.

Также было много пластинок симфонической музыки, слушали ее нередко. Отец не считал себя знатоком, просто хорошая музыка доставляла ему удовольствие. Вкус к музыкальной классике он приобрел еще в довоенное время, когда висели в квартирах

репродукторы-тарелки и целыми днями шли передачи, в том числе звучала музыка. Особенно нравилась отцу 1-я симфония Калинникова, многое Чайковского, «Князь Игорь», «Борис Годунов», другие русские оперы. А также и «Фауст», «Паяцы», «Кармен», «Аида»... Очень он любил советские песни, одна из самых любимых – «Скворцы прилетели» Дунаевского. Найдите, послушайте ее, какая это действительно светлая, весенняя песня.

Отец знал множество мелодий и часто что-нибудь напевал. Когда мы с мамой обменивались эсэмэсками, по словам «папа поет» я понимал, что чувствует он себя неплохо и настроение в норме. Но в последние свои месяцы пел он все реже...

Нынешнее телевидение отец не любил, смотрел только новости. До последних дней его интересовало и не оставляло равнодушным происходящее в мире и стране. Российские события вызывали у него интерес не меньший, чем украинские. В душе он так и не принял разделенность России и Украины, считая это ошибкой, которая должна быть исправлена.

* * *

Он был интернационалистом. То, что все народы равны в своем достоинстве, – было для него непреложно. Если у него, доброжелательного и деликатного человека, что-то и вызывало возмущение и даже гнев,

то это проявления национального высокомерия, шовинизма, огульные обвинения по национальному признаку. И в то же время он ценил национальное многообразие. То, что он еврей, было для отца важно, было в нем развито чувство национальной солидарности. Особенно это проявилось в годы, когда в Керчи возникла, встала на ноги еврейская община.

Он считал своим долгом отстаивать национальное достоинство, давать отпор разного рода провокаторам, националистической мути, проникающей в прессу. Но задачу свою видел прежде всего в том, чтобы просвещать, а также рассказывать о достойных людях. О тех, кто составляет гордость своего народа.

Хочу здесь сказать о собственной национальной самоидентификации, которая всегда является вопросом для тех, чьи родители разных национальностей. Себя я считаю русским, так я себя ощущаю. Люблю нашу великую культуру, наш родной язык. И также ценю и горжусь тем, что корнями сопричастен к евреям, этому мудрому, мужественному народу. Эту свою причастность считаю подарком судьбы.

* * *

У отца был светлый взгляд на мир. Несмотря на то, что жизнь круто менялась, обрушились прежние устои, он сохранял оптимизм, верил в социальный прогресс, в

то, что разум и лучшие человеческие свойства все равно возьмут верх. Возможно, в этом отец был немножко идеалистом, но ведь он и жил согласно своим идеалам, и работал до последнего, их воплощая. Каким благородным, чисто прозвучавшим финальным аккордом стала его последняя статья, посвященная Дню Победы! Номер «Керченского рабочего» с этой статьей вышел на следующий день после его смерти. Так совпало.

Да, судьба благоволила отцу: он и ушел – красиво.

* * *

Никто не вечен, и отец прожил большую, долгую жизнь. Силы его оставляли, все мы понимали, а прежде всего понимал он сам, что уход близок. Но пожить бы ему еще хоть сколько-нибудь... У меня сейчас возникают вопросы, которые хотелось бы ему задать, появляются темы, которые хотелось бы обсудить. Мне недостает общения с отцом. Думаю, что всегда будет нехватать.





Василий Маковецкий
Член НСПУ

СЛАВИН

С Наумом Абрамовичем Славиным я познакомился в 1968 году, когда меня, журналиста, «Крымская правда» послала в Керчь за материалом ко дню Победы. Славин преподавал историю в 17-й керченской школе и был там парторгом. Кроме того, он был писателем, написавшим три книжки для малышей и одну для взрослых о том времени, когда был бойцом взвода батальона разведки. А меня только-только приняли в Союз писателей, и встретиться с коллегой по перу, да еще керчанином, да еще и бывшим разведчиком было страшно интересно. И интерес этот оправдан, но совсем не так, как я ожидал. В книгах Славина я почувствовал ровный, спокойный его характер, как и его нелюбовь к театральности и слишком ярким краскам. Он воевал, и не солдатом пехоты, а разведчиком, бойцом взвода разведки, и написал об этом две хорошие книжки – «Моложе нас не было» и «Мы разведчики».

Еще до знакомства с Наумом Абрамовичем я поместил в «Крымской правде» свое слово о нем, рецензию. И я поехал в Керчь с радостью – очень хотелось ближе познакомиться с автором.

Его книжки о своем участии в войне были, конечно, в очень сдержанной, я бы сказал, целомудренной манере. В армию он был призван в последний год войны, прямо со школьной скамьи. Он радовался своему назначению в разведку, очень хотел себя проявить в каком-нибудь настоящем деле, но его, самого молодого, в сущности, еще мальчишку, любили и берегли: «Еще успеешь!». Он обижался. Какие это были мудрые, спокойные бойцы! Они его берегли, но война есть война. Однажды он, вроде бы готовый ко всему, испытал такие минуты страха.

Ему приказали отконвоировать колонну пленных немецких солдат из одного селения, где они сдались в плен, до другого, а дорога шла оврагами, перелесками, и деревья еще кое-где дымились от недавних разрывов, и эти немцы были страшно возбуждены. Одни радовались, что война для них кончилась, другие этого словно бы еще не понимали и ругали, не хотели мириться с поражением. И эту массу вражеских солдат, еще не остывших после боя, вел юноша, вчерашний школьник, — сцепив зубы, с автоматом наперевес, палец на спусковом крючке. Пленные бросали на него взгляды — кто с интересом и удивлением, кто с ненавистью и злобой. Он чувствовал это их напряжение, и страх его был в том, что, не дай бог, кто-то из колонны вдруг бросится бежать, —

и придется стрелять по этим людям! Он шел в диком напряжении, не отрывая от них взгляда, и раза два или три чуть не упал, наткнувшись на куст...

Один немец, крайний в ряду, его особенно беспокоил, – он таращился на него как на какое-то диво, хотел о чем-то спросить.

Этот переход с пленными окончился благополучно, – сколько ему дано было под конвой, – столько он и привел. Но так измучился, что, завершив передачу пленных, целый час отдыхал, лежа под деревом. А потом той же дорогой пошел в свою часть, один, уже в сумерках, по дымящимся перелескам. Возвращаться в сумерках было страшновато, но сердце прыгало от радости. Вот, сделал дело, выполнил приказ, и не пришлось никого убивать.

Таким запомнился мне этот случай, рассказанный Наумом Абрамовичем на второй день после нашей встречи в Керчи. И потом, после моего переезда из Симферополя в Керчь, мы еще не раз вспоминали о войне, и он усмехался, радовался, что ему не пришлось стрелять по безоружным людям.

После войны Наум Абрамович закончил пединститут и стал школьным учителем истории. Я часто бывал в школе № 17 по разным журналистским поводам. И всегда от кого-нибудь из преподавателей или учени-

ков слышал доброе слово о Науме Абрамовиче. Его все очень уважали и любили.

Учитель рисования, оригинальный художник, Вячеслав Дерещук, просто ни о ком другом, кажется, и говорить не мог. Дерещук, как и Славин, очень любил детей, и нередко из-за своей этой всепрощающей любви попадал в очередную какую-нибудь головомойку. Советовался со Славиным, и тот своим мудрым вниманием, спокойным разбором обстоятельств его выручал.

Последние 15 лет Наум Абрамович пенсионер, фронтовик активно участвовал в работе нашего Керченского литературного объединения. Поначалу был его руководителем, потом, фактически передав дела Алексею Вдовенко, дружил со всеми молодыми и немолодыми керченскими литераторами, принимал их у себя дома.

Алексей Вдовенко талантливый литератор и мужественный человек (инвалид), он работает за троих здоровых, организовал выходящий регулярно ежегодный Керченский литературный альманах «Ли́ра Боспора». Наум Абрамович во всем помогал, помещал в этом альманахе свои обзоры, напутственные статьи, авторские материалы.

Последние девять лет я жил в деревне Ново-Николаевка, работал там в сельском этнографическом музее. И ныне, по возвращении в родную Керчь, увидел наше литературное объединение на удивление раз-

росшимся и окрепшим. Окрепшим во всех отношениях. Конечно, тут в первую очередь сказывалась перемена обстановки в стране, возможность говорить без страха обо всем, во что веришь, о чем считаешь нужным сказать. Но, без сомнения, ощущалось и мудрое, спокойное, лишенное всяких литературных протуберанцев учительство Славина.

Нам всем очень, очень будет его не хватать.





Анна Чудновская

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. СЛАВИНЕ

Я училась долго и нудно. У меня было огромное число преподавателей. Но Наум Абрамович остался единственным любимым Учителем. Да, именно так, с большой буквы. Другие были только преподавателями. Они давали нам знания, часто неплохие, а Наум Абрамович был не только преподавателем, он был Учителем. Очень интеллигентный человек, он никогда не повышал голоса, а тем более, не оскорблял учеников, хотя на его уроках шумели не меньше, чем у других преподавателей. Одна учительница мне только тем и запомнилась, что кричала и так стучала по столу линейкой, что сломала ее, а потом еще и ручку швырнула в ученика. Многих преподавателей я вообще не помню. А вот о Науме Абрамовиче мне бы хотелось рассказать то, что особенно запомнилось.

БУКЕТ

В конце учебного года в наше время, уже начиная с пятого класса, были экзамены. На экзамены было принято приносить букеты цветов и дарить их экзаменаторам. Сдавшие экзамен ученики не разбежались кто куда, а собирались в школьном дворе.

И вот, кто-то из мальчишек предложил: «А давайте подарим букет Науму Абрамовичу». У нас не было экзамена по истории, и Наум Абрамович не был у нас классным руководителем. А самое главное, что это предложили те же мальчишки, которые шумели на его уроках. Значит, они, пусть еще неосознанно, по-детски, смогли оценить этого Человека.

Пошли мы в учительскую, но там сказали, что Наум Абрамович уже ушел домой. Решено было все-таки подарит букет, для чего пошли к Науму Абрамовичу домой. Меня тоже включили в эту делегацию, так что, могу засвидетельствовать, что букет был вручен.

ШЕКСПИР

В шестом классе мы проходили «Историю средних веков». Наум Абрамович вызвал меня к доске рассказывать о культуре средневековой Англии, в частности о Шекспире. Я была еще та зубрилка. Отбарабанила то, что было написано в учебнике. Наум Абрамович спросил, когда я закончила: «А ты читала Шекспира?» Я честно сказала, что нет. «Ну, как же так... В твоём возрасте уже пора». Пятерку он мне все-таки поставил, но она меня уже не радовала, так как мне было стыдно. Сразу после уроков я помчалась в библиотеку и взяла огромный том Шекспира. Сейчас такие даже и не издают.

Я прочитала пять самых знаменитых трагедий Шекспира. В детстве я была очень серьезной девочкой и комедий не признавала, но на всякий случай прочла и парочку шекспировских комедий.

Спасибо Науму Абрамовичу за то, что он хотел, чтобы мы знакомились с мировой культурой. Честно признаюсь, что с тех пор я Шекспира больше прочесть не собралась, потому что сама жизнь сродни шекспировским трагедиям, пусть, не такая кровавая, но это не значит, что более легкая.

ЗЕМЛЯК

После восьмого класса я поступила в ялтинское медучилище. Домашняя девочка, я впервые очутилась одна и так далеко от дома. В силу своей крайней застенчивости, я тяжело схожусь с людьми. Естественно, в первое время у меня подруг не было, и мне было очень одиноко. И вот, я решила сходить на ялтинскую киностудию, потому что в это время Наум Абрамович работал там в сценарном отделе. Сказано – сделано. Я нашла Наума Абрамовича, и он, отложив все дела, поговорил со мной, как учитель с ученицей, как старший товарищ, да, просто как мой земляк. И, представьте, мне стало легче от того, что кто-то разделил со мной мое одиночество и тоску по родному городу.

Много позже, вспоминая этот случай, я перебирала всех своих преподавателей и по-

няла, что только к Науму Абрамовичу я, робкая, застенчивая девчонка, могла прийти так запросто. Прийти, как к Человеку, как к Учителю.





М. Е. Чудновский

ДА БУДЕТ ТАК!

Мне посчастливилось посещать заседания городского литературного объединения при редакции газеты «Керченский рабочий» в семидесятые годы уже минувшего двадцатого столетия, когда его возглавлял Н. А. Славин, член Союза писателей СССР.

Литературное творчество – сложное явление. Ведь литератор должен путем сложного подбора слов выразить свое неповторимое восприятие того, о чем пишет. Точных рецептов того, как нужно их подбирать, нет. Но писатели такого высокого класса, каким являлся и Наум Абрамович, стали ими во многом благодаря развитию заложенного в них природой чувства слова в широком значении этого словосочетания.

И Славин старался заметить в начинающих авторах хотя бы маленький росточек данной удивительной способности, а заметив, помочь его развитию. Чем? Прежде всего, похвалой.

Мастер всегда с одобрением отмечал в разбираемых произведениях каждый удачно подобранный эпитет, любое проявление стремления достоверно раскрыть внутренний мир описываемых персонажей. Или – в стихах – лирического героя.

Что же касается слабых мест, где автор как бы скользил по поверхности своего замысла, то мэтр старался в ходе анализа рассматриваемой работы приблизить «виновника» возникшей несуразицы к пониманию того, в какую сторону желательно двигаться при ее переработке.

В случае необходимости советы подкреплялись ссылками на творчество разных писателей, но не для буквального подражания, а для плодотворного переосмысления их опыта.

При этом, узкие анкетные данные, например, национальности тех, чье литературное наследие привлекалось в качестве поучительных примеров, не оказывали какого либо специфического влияния на отношение к ним нашего наставника – ко всем оно было в равной степени уважительным. Иначе и быть не могло: ведь наш Учитель трактовал интернационализм в лучшем, высоком значении данного термина – как свободное содружество множества национальных культур, в котором все равны и готовы в случае необходимости помочь друг другу.

В то же время к Науму Абрамовичу нельзя применить известную поговорку об «Иване, не помнящем родства», поскольку он принимал активное участие в жизни еврейской общины Керчи, но всегда помнил о наличии прямой или косвенной связи еврейской культуры с культурами других народов.

И, конечно же, в творчестве писателя-фронтовика важное место занимала антифа-

шистская тема, связанная, в том числе, с трагическими страницами истории Холокоста – уничтожения нацистами евреев Европы. Тогда погибло шесть миллионов человек. Помнить о них нужно для того, чтобы подобное не случилось никогда и нигде в отношении любого народа. И чтобы все жители Крыма и Украины могли бы в обстановке мира, стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия заниматься созидательным трудом во имя Добра. Ему служил наш выдающийся земляк – талантливый писатель и педагог Наум Абрамович Славин. Его творческому наследию суждена долгая-долгая жизнь. Да будет так!





Василий Нестеренко

* * *

Ушел последний фронтовик
Из всех, кого я знал.
Ушел в почете и любви
Из мира войн и зла.

Любил, воспитывал, дружил.
И мир менялся, плавясь.
Спасибо Вам за эту жизнь,
Наум Абрамыч Славин.

9.05.2012 г.





Марина Молодцова

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

С Наумом Абрамовичем Славиным я познакомилась давно, когда работала руководителем городской школы юнкоров (более 30 лет назад).

Я приглашала на лекторий для будущих журналистов интересных людей, в первую очередь писателей, поэтов, журналистов. В то время членов Союза писателей СССР в городе было немного: Н. А. Славин, В. Я. Маковецкий, В. Я. Левенко, хотя пишущих и печатающихся было больше.

На встрече с юнкорами Наум Абрамович рассказывал о конкретных случаях из жизни. Фронтовик, учитель с большим стажем, он всегда был среди людей. Удивительно скромный, без назиданий и пафоса, он негромким голосом разговаривал с моими подопечными и в его голосе сквозило уважение к ребятам, которые делали свои первые шаги к профессии.

Шли годы. Семейные обстоятельства почти 20 лет тому назад привели мою семью (по обмену) на улицу Студенческую. И какова же была моя радость, что мы оказались в соседнем со Славиными доме. Каждое утро мимо наших окон, независимо от погоды, проходили к морю на прогулку Наум Абрамович и Лидия Николаевна Славины. Мы поражались удиви-

тельному постоянству этого ритуала. Так продолжалось из года в год. Мы периодически встречались со Славиными по разным поводам и узнавали эту светлую пару все больше и больше. Трепетные отношения, забота друг о друге, скромность, воспитанность и участие.

Когда у Наума Абрамовича не стало сил на дальние прогулки, супруги Славины совершали «малые кругосветки» вокруг наших домов...

Наума Абрамовича нет больше с нами. Он отправился в свою последнюю «кругосветку»...

Возясь на кухне, я выглядываю по утрам в окно и ловлю себя на мысли, что мне не хватает этой фигурки, медленно проходящей мимо и тихо беседующей о чем-то со своей неизменной спутницей...

Воистину СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

июль 2012г.





Сергей Молодцов

* * *

Скромный взгляд,
Лукавинка в глазах,
А к тому ж еще, ума палата...
Вроде коротко
И в двух словах
Но, наверно, больше и не надо.

Но бывает мало пары слов,
А так много хочется сказать,
Улыбаться сквозь букет цветов,
Мадригал торжественно читать.

А еще, все памятные даты
Бойко отчеканить от зубов:
Родился, учился, стал солдатом...
А в войну-то был еще каков!
Мир пришел-он книгами, делами,
Отпечатал след на бурный век.
Все же я скажу тремя словами:
Истинный и скромный
ЧЕЛОВЕК !

6.01.2006г.





Лариса Алексеева

* * *

Жизни кинолента, а на ней
Кадры пережитых трудных дней:
Битвы за Варшаву, за Берлин,
Тысячи снарядов, пуль и мин.

А потом учеба, институт,
Ваш хранитель-ангел – тоже тут:
Та, что сможет счастьем дорожить,
Ваш роман сердечный на всю жизнь.

Вот на кадрах фильма Вы – отец.
Что на свете лучше двух сердец?
Дети так же ценят душу в Вас,
Как гордитесь ими вы сейчас.

Главное на свете – честным быть,
В школе Вы учили жизнь любить,
Не бояться бед, людской молвы.
И парторгом школы были Вы.

А сейчас Вы – мудрый мальчуган,
И талант писателя Вам дан.
Пусть бегут стремительно года,
Но душа, как раньше, молода.

Мы Вам рады, наш сердечный друг,
А друзей у Вас широкий круг.
Поздравляем Вас наперебой,
Мы гордимся дружбою такой.

И желаем сильным, крепким быть,
Мудрость людям от души дарить.
И писать, и радовать всех нас.
Мы Вас очень любим, без прикрас.





Лариса Алексеева

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ

*светлой памяти
Наума Абрамовича Славина*

Вы сейчас далеко, за широкой рекой,
Пусть душа отдыхает от шума.
Там небесный уют, тишина и покой,
Там о Вечности каждая дума.

А судьба Ваша очень нелегкой была,
Не одну только радость дарила.
Догорела свеча Вашей жизни дотла,
Но как ярко и ровно светила.

Как любили Вы жизнь и ценили друзей,
За семью свою были в ответе.
Вам судьба подарила жену и детей
Самых лучших на всем белом свете.

В Ваших книгах нам помнится каждый рассказ,
В них судьба свои ставит задачи.
Мы и в школе, и в жизни учились у Вас
Жить по совести, с полной отдачей.

Соберем вашу мудрость в бесценный запас,
Чтоб идти в жизни честной дорогой.
Сбережем в наших душах мы память о вас,
И она будет светлой и долгой.



Татьяна Левченко

СЕРДЦА СВЕТОМ ОЗАРЯЮЩИЙ

(слово на вечере памяти)

Я не могу сказать, что хорошо знала Наума Абрамовича Славина, общалась с ним, училась у него... Я слишком поздно... слишком недавно пришла в литературу, в керченскую литературу... И всех керченских авторов, писателей и, конечно, Наума Абрамовича в первую очередь, как писателя первой величины не только нашего города, но Крыма, Украины, узнавала сперва со слов, по рассказам мужа, поэта, прозаика Алексея Вдовенко. Это были такие славные, добрые, теплые слова, что я, еще не видя, представляла этого человека таким... озаренным светом внутренним, светом своего доброго сердца... И когда увидела впервые... он пришел к нам заседание уже нового литобъединения, «Лира Боспора», он сидел так, в глубине помещения, а мы, взбудораженные недавним выходом в свет своего коллективного детища – одного из первых выпусков сборника «Лира Боспора», читали свои произведения «по кругу», и волнуясь, и немножко рисуясь «перед мэтром»... Наум Абрамович был со слуховым аппаратом, он еще не освоился с ним, я это видела, от лично знакомая с проблемами людей, теря-

ющих слух, и читать свое старалась громче, отчетливее... И, конечно, всматривалась в это необычайно внимательное, доброе лицо с глазами все понимающего мудрого человека, стараясь уловить... конечно, мне хотелось, чтобы меня похвалили... ведь я так недавно появилась среди литераторов! А он молчал. Слушал, добро улыбался, молчал и... это было так странно! – из той «глубины помещения», будто охватывающий всех нас, луч теплого света, исходящий от глаз Учителя, как из самого сердца его, озарял и согревал...

И это не было ни наваждением, ни выдумкой. Ведь впоследствии, при каждой встрече, когда Наум Абрамович бывал на наших собраниях или мероприятиях, он, поистине, беседуя, слушая авторов, всем существом своим излучал этот теплый ровный свет. Я думаю, вы все это замечали...

И становилось тепло и уверенно, верилось и зналось: все у нас получится, – а это ведь было в очень трудные для литературы годы, вспомните. – И все действительно получалось, пусть через сложности и трудности. И я подумала: это Наум Абрамович свою чистую и светлую энергию любви и заботы светом этим озаряющим передавал нам, поддерживая, как бы передавая эстафету новым, растущим, развивающимся талантливым писателям – поэтам, прозаикам, публицистам...

И этот свет глаз его, души его, сердца свет озаряющий, остается в каждом из нас. Наверное, так он хотел... Ведь Учитель всегда вкладывает частичку души своей в своих учеников... в каждого...





Алексей Вдовенко

СТАРИК

Н. А. Славину

На остановке, где листьев стаи
Гонит осенний ветер,
Стоял Человек — усталый, старый,
В черном большом берете.

Стоял, как все: обычный прохожий,
Ждал обычный автобус.
И лишь голова была похожа
На школьный стертый глобус.

Добрые мысли, видно, роились
В этом черепе странном,
Думы о благе людском сходились.
Словно меридианы.

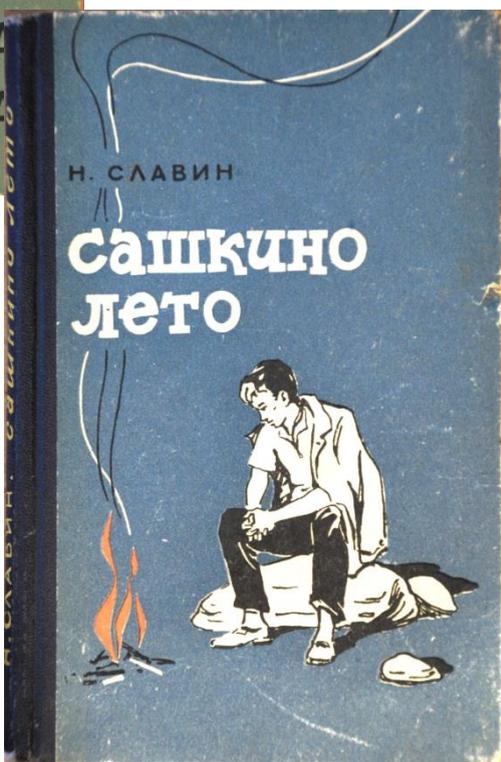
Казалось, что улыбнись он только —
И станет весело всем,
И сразу в мире исчезнут толки
Глупых, запутанных тем.

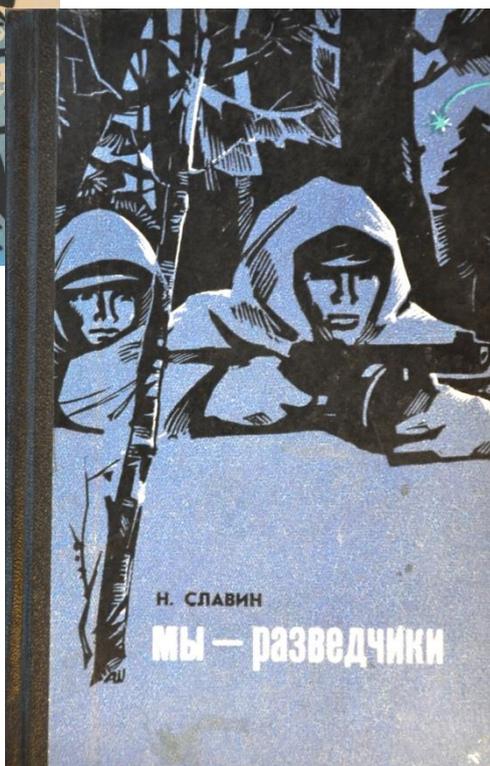
Но время шло, подошел автобус.
По шинам терлась листва.
И скрылась, похожая на глобус.
Сказочная голова.

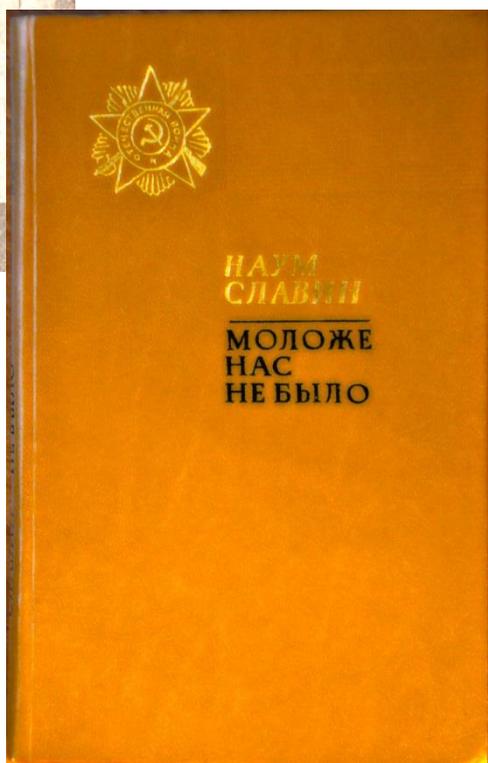
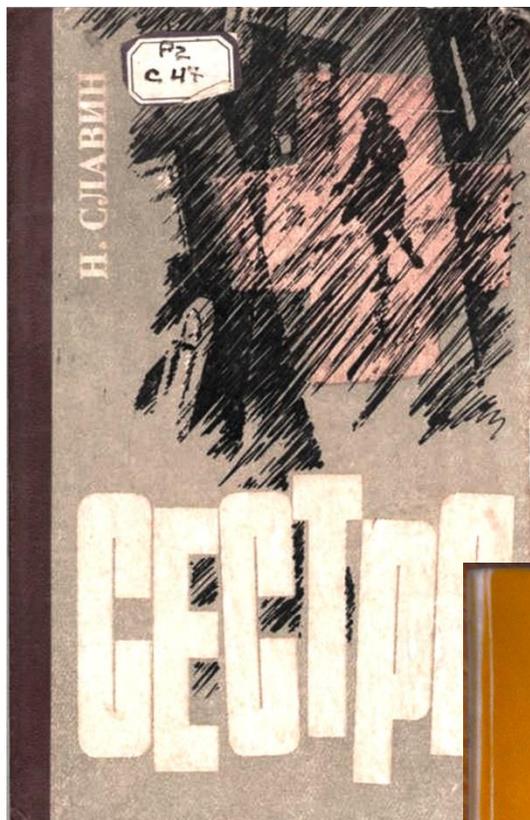
Старик ушел. Сознание прочно
К нему стремилось опять.
Мне почему-то той странной ночью
Совсем не хотелось спать.

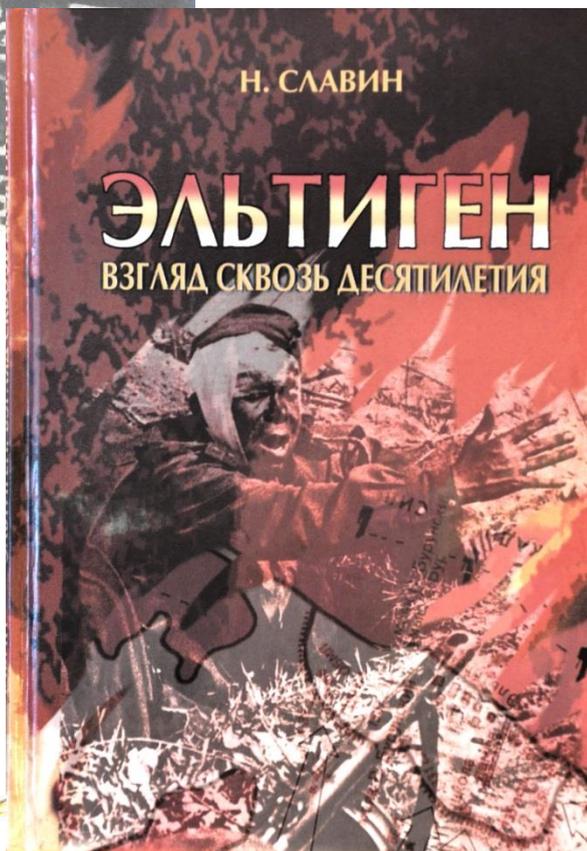
Книги Н. А. Славина











Фотографии разных лет



Бася Беньяминовна Славина. Снимок сделан в 1960-е г.г.



Со старшими сестрами, Фаней и Розой. Конец 1920-х г.г.





Сотцом, Абрамом Наумовичем Славным. Конец 1940-х г.г.



С родителями, женой Лидией Николаевной и сыном Володией. г. Саки, начало 1970-х г.г.



Позади война... Германия, октябрь 1945 г. Н.А. Славин в 4-м ряду, в центре.



Друзья-однопалчани. Встречи в Москве, 1980-е г.г.



Друзья-однополчане. Встречи в Москве, 1980-е г.г.



Студенты - будущие учителя. Симферополь, рубеж 1940-х - 1950-х г.г.





Молодой учитель и его ученики. 1950-е г.г.





На экскурсию к Царскому кургану. 1960-е г.г.



Молодожены. Начало 1950-х г.г.



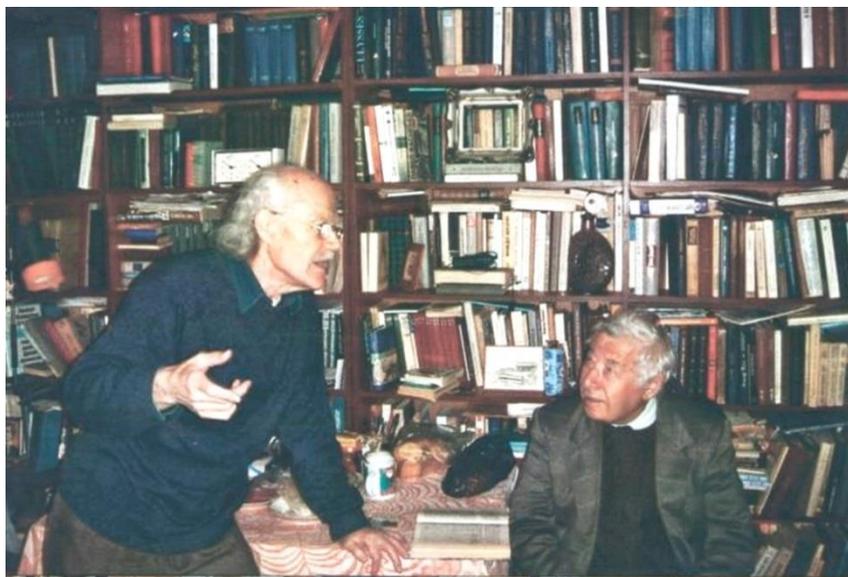
Всей семьей. 1971 г.



Пикник в керченской степи. Май 1977 г.



Среди учеников. Рядом - Вячеслав Евгеньевич Дерещук. Друг, художник, учитель рисования школы № 17, автор иллюстраций к нескольким книгам. 1960-е г.г.



В гостях у Бориса Алексеевича Васильева-Пальма. 2009 г.



Встреча с читателями. 1970-е г.г.





Бабушка и дедушка с внуками Алешей и Машей. 1995 г.



Во дворе родного дома.



СЛОВО ПАМЯТИ



УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ

Как об Учителе сказать
Тепло и нежно,
Чтобы уход его принять,
Принять с надеждой,
Что не сковал забвенья страх
Родные лица, –
Ведь жизнь его в учениках
Еще продлится...

Как о нем писать? Какие слова найти? Сознание не воспринимает его в прошедшем времени. И представляется, что я все еще могу, набрав знакомый номер...

... Лидия Николаевна передаст трубку, и я услышу тихое и спокойное: «Здравствуйте, Алеша!»

Звоню... пережидаю гудки... Лидия Николаевна, слава Богу, отвечает. А Наум Абрамович... увы... не придумана еще телефонная связь с теми местностями, куда он ушел.

Ловлю себя на мысли, что светло завидую тем, кто учился у него в школе № 17. Учить историю с человеком, который сам же эту историю и делал, – что может быть

прекраснее! И тут же понимаю, что «на судьбу не стоит дуться». Ведь я с раннего детства не мечтал быть ни пожарником, ни космонавтом, я мечтал быть писателем, как Славин, он был моим Учителем! Учителем жизни.

Мечта почти осуществилась. Почти, потому что быть, как Славин нельзя. Он неповторим, как и каждая по-настоящему сильная творческая личность!

Ну, что же, Учитель, будьте спокойны в своих, ныне уже иных, местностях. Вы прожили жизнь вовсе не зря! А мы, Ваши ученики, продолжим, как сумеем, Ваше дело.

Алексей Вдовенко





Наум Абрамович Славин родился 7 января 1926 года в еврейском земледельческом поселке «Фрайланд» («Свободная страна») в Николаевской области. В 1933 году семья переехала в Крым, в Сакский район. В 1941 году – эвакуация, после нескольких переездов семья осела в Дагестане в райцентре Серго-Кала, где Наум Абрамович окончил педучилище.

В июне 1944 года ушел на фронт, участвовал в освобождении Прибалтики, Польши, в боях на подступах к Берлину. В 1947 – 1951 г.г. – учеба в Крымском пединституте. С 1951 года жил в Керчи, работал преподавателем истории в средней школе № 17 имени В. Велик.

Наум Абрамович долгие годы являлся одним из ведущих писателей города-героя Керчи. Им написан ряд книг детско-юношеской тематики: повесть «Откровенный разговор» (издана в 1954 г.), «Голуби в небе» (повесть издана в 1960 г.), повесть «Мяч, капитан и команда» (1961 г.), «Шум на третьем этаже» (1971 г.)

А также книги военно-патриотической темы: «Мы – разведчики» (1973 г.), «Моложе нас не было», «Сестра», «В разведке».

В 2004 году писателем издано глубокое историко-публицистическое исследование «Эльтиген. Взгляд сквозь десятилетия», осветившее важные, но малоизвестные факты истории города-героя Керчи в Великой Отечественной войне.

Член Союза писателей СССР с 1974 года, член НСПУ и Союза русских, украинских и белорусских писателей Крыма, Н. А. Славин имел активную жизненную позицию, занимался

общественной деятельностью. Много лет он возглавлял литературное объединение при газете «Керченский рабочий», и до последних дней помогал молодым литераторам осваивать профессиональные навыки писательского труда, воспитывая в них чувство патриотизма, любви к родному городу, к Родине. Регулярно публиковал обзорные статьи по творческой работе «КГЛито «Лиры Боспора», по истории и современности города-героя Керчи.

Свой обширный архив писатель передал городу, чем внес большой вклад в документальную историю Керчи.

Умер Наум Абрамович Славин 7 мая 2012 г.

Фронтовик... Писатель... Учитель...

Он Человек был...



СОДЕРЖАНИЕ

Мы будем помнить вас, учитель!3

Н. А. СЛАВИН РАССКАЗЫ

Из Аджимушкайской тетради8

Почти как у людей 47

ОЧЕРКИ

Далёкий отзвук Эльтигена..... 49

Офицер флота..... 55

Дочь Катя..... 62

Человеческий род един 67

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ

Издателям Избранных страниц «Русского архива» 72

Из письма в редакцию немецкого журнала
«Дойчланд»..... 75

О БЛИЗКИХ

Про отца 78

Про маму..... 81

О семье Славиных..... 83

О КНИГАХ, ПУБЛИКАЦИЯХ ПИСАТЕЛЯ ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ

В Керченском литературном объединении 94

В. Биршерт «Голуби в небе» 96

Мария Глушко Сашкино большое лето 100

В. Маковецкий Горизонт в нескольких шагах..... 105

Л. Мангупли Всё , чем богат, – людям 110

ОН ЧЕЛОВЕК БЫЛ...

В. Славин Мой отец	114
Василий Маковецкий Славин.....	127
Анна Чудновская Воспоминания о Н. А. Славине	131
М. Е. Чудновский Да будет так!.....	134
Василий Нестеренко Ушёл последний фронтовик.....	137
Марина Молодцова Светлая память	138
Сергей Молодцов Скромный взгляд.....	140
Лариса Алексеева Жизни кинолента. А на ней.....	141
Лариса Алексеева Жить по совести.....	143
Татьяна Левченко Сердца светом озаряющий.....	144
Алексей Вдовенко Старик	146
Книги Н. А. Славина.....	147
Фотографии разных лет	152

СЛОВО ПАМЯТИ

Алексей Вдовенко Учитель жизни	163
Биография писателя Н. А. Славина	165



ОН ЧЕЛОВЕК БЫЛ...
книга памяти Н. А. Славина
писателя, фронтовика,
учителя, человека

Редактор:

А. Н. Вдовенко

компьютерный набор, макет, дизайн:

Т. В. Левченко

Формат 84x63 1/32. Заказ № 75 Бумага офисная Печать цифровая. Усл.-печ. л. 2,5. Тираж 100 экз.
Верстка, макет: Татьяна Левченко, «Керченское городское литературное объединение «Ли́ра Боспора»

